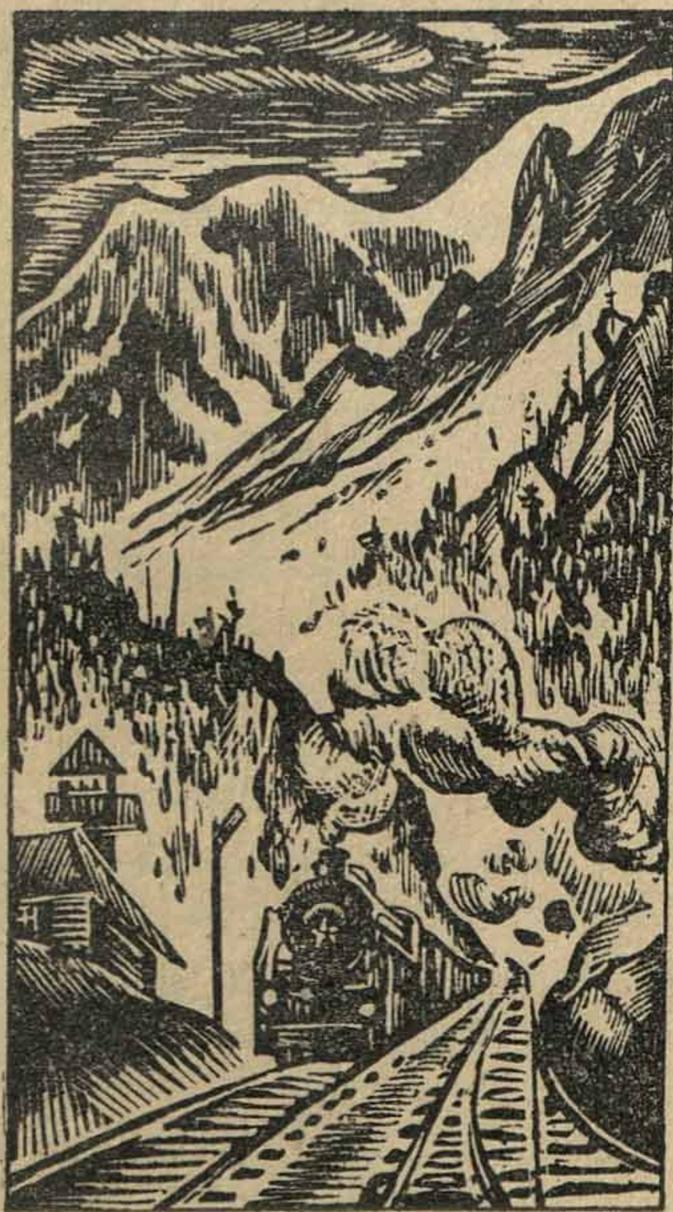


ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ

Борис МАШУК

Горькие шанежки

РАССКАЗЫ
О ВОЕННОМ
ДЕТСТВЕ



Стадо Семушка пригнал в сумерках... В тот час из низинок, от пади разливался по округе туман. В деревне за озером играла гармошка.

Семушка крепко устал. Да и то: целый день бегал за коровами, до хрипоты накричался на них, непутевых. Он вяло похлебал щей, запил их молоком и лег в сенях на самодельном топчане. Укрылся овчиной шубой и сразу же заснул, будто в яму провалился.

Июльские ночи короткие. А эта и по календарю короче других. И в эту-то ночь привиделся Семушке удивительный сон...

Обратился он, вроде бы, в птицу. Взмахнул руками, как крыльями, и стал подниматься вверх. К самому поднебесью. И так высоко поднялся, что дух перехватило. Но и хорошо же ему, интересно было там, наверху.

С высоты рассмотрел он покосную равнину с лиманами, холмы и перелески на выпасах. Увидел под собой строгую линию железной дороги. С обеих сторон к ней лепились дома полустанка: четыре сбились кучкой у переезда, а один темнел крышей чуть в стороне. Это была станция. Против нее — за линией — увидел Семушка и свой дом на две квартиры, и большую избу соседей — стариков Орловых...

Как же хорошо, как славно летать! В росе не мокнешь, ноги не устают от ходьбы, не жарко и не холодно, а видно все-все.

Вот внизу рельсы синеют. На равнине они прямые, как по линейке начерченные. Но недалеко от полустанка линия опускается в выемку и дальше змеей извивается среди сопков, огибающих равнину подковой. Вершина подковы направлена к востоку, где солнышко всходит. В сопках южной ее половины спрятана Бычковая заимка, а еще дальше — танковый полигон. Против него, под другой половинкой подковы, на косогоре пристроилась деревня. От линии и полустанка ее отделила кочковатая падь с речкой Безымянкой посередине.

И речка сверху совсем маленькой кажется. Бусинками на нее нанизаны озера и озерки. Самое большое озеро — против полустанка. Безымянка скрывается в нем, но, упрямая, вытекает с другого конца. Там через нее мосток перекинут на сваях из рельсов. А еще ниже, уже за мостком, виднеется брод для тракторов, машин и конных подвод. От брода дорога поднимается рукавами рубашки: один к переезду через линию, а другой — к деревенскому косогору.

Семушка помнил, что дальше за равниной раскинулась Лешинская падь с топами. Он потянулся, чтобы рассмотреть это страшное место, но тут что-то сбило его с полета, все видимое потускнело, и он вроде бы ткнулся плечом в твердую землю. Открыв глаза, в полумраке рассвета, увидел над собой хмурое лицо отчима.

— Зачем ты? — удивленно спросил Семушка, жалея о сне. — Зачем... будишь?

— Трясу-трясу, а он как мертвый! — сердито проговорил отчим. — Вставай, работничек.

— А-а... — Семушка сладко зевнул, опять закрыл глаза. — Счас я, погоди чуть...

Потянул на себя теплую овчину, в секунду забылся, но та же рука опять встряхнула его за плечо.

— Кому говорят, вставай! Все уж коров выгоняют...

Семушка торопливо сел на топчане, а глаза его никак не хотели раскрываться. Он уж было привалился к стене, но из глубины дома подала голос мать:

— Подымайся, сынок... Вставай... Люди ведь ждать не станут...

Отчим хлопнул дверью сеней, ушел в стайку, а Семушка закопошился в одежде. Натянул штаны, рубашонку. На-

вернул портянки, кое-как втолкал ноги в мокрые сапоги. На дворе плеснул в лицо водой из рукомойника и вернулся в дом, шибавший духотой, запахами старого борща, лекарств и прелой одежды.

Доставая хлеб и молоко, Семушка звякнул посудой. На кровати в сумеречном углу заворочалась хворая мать.

— Ты поешь хорошенько, сынок. И молока с собой не забудь.

— Я и так ем, — отозвался Семушка. — Ты лежи, мам...

Помолчав, мать вздохнула, вроде бы всхлипнула, и сказала сердито:

— И когда ж он вернется только, бугай тот бессознательный? Договаривались на два дня, а пошел уже четвертый...

Под материнские вздохи Семушка принес из сеней торбочку, сунул в нее фляжку с молоком, горбушку хлеба и, накинув на плечи старый пиджачок, вышел в сырой и прохладный рассвет.

Отчим уже выпустил корову из пригона. Она пощипывала траву около трех берез, росших против дома стариков Орловых. Под присмотром бабки Орлихи там же паслись ее Белянка и бык Пушкарь.

Пощелкивая бичом, Семушка погнал животных по дорожке к переезду. За линией уже слышались голоса, покрикивание, мычание коров и телят.

Около переезда в окружении тополей стояли виденные Семушкой во сне и давно знакомые наяву четыре дома, называемые еще и казармой. Дорога опускалась с переезда и, миновав дома, сарай, разделялась на две: одна уходила прямо на юг, к полигону, а другая, забирая к востоку, вела на Бычковую заимку — к сопкам. У развилки всегда собиралось стадо.

К Семушкиному приходу коровы уже были на месте. Пощипывая траву, они медленно отходили в покосный простор с перелесками. Поглядывая за ними, на развилке зябли женщины, одетые по-утреннему, на скорую руку. Среди них и тетка Катерина — мать лучшего Семушкиного дружка Ленки Чалова. Посмотрев на девятилетнего пастушка, обутого в тяжелые сапоги и в сползающем на глаза картузе, она спросила озабоченно:

— В какую сторону погонишь пасти? Где хоть потом искать-то тебя?

— Прямо к полигону погоню. — Семушка по-хозяйски оглядел стадо, спросил: — Все тут?

— Да вроде все, — ответила тетка Катерина. — Раз уж ты не проспал, то и другие проснулись...

Степанида Слободкина — пожилая, невысокая, со стеснительной улыбкой на добром лице, — вздохнув, заметила негромко:

— У такого отчима, как Гаврила Ломов, не проспишь. У него и петух раньше других просыпаться приучен...

Нахмуясь, Семушка поправил картуз, щелкнул бичом и заторопился за стадом.

Утро только начиналось. Серый рассвет тянулся медленно. В туманной заволочке хоронилась дремотная тишина. Птицы еще спали. Деревья и кусты смутно проступали из полумглы. Все казалось таинственным, страшноватым и, успокаивая себя, Семушка щелкал бичом, покрикивал на коров, стараясь придать голосу басовитость и строгость.

Войдя в росные травы, пастушок сразу вымок до пояса. Медленно двигаясь за стадом, он зябко поеживался от сырости и прохлады. Не шли из ума слова тетки Слободкиной про отчима. Не любят его люди... Ни соседом, ни другом его не зовут. Для всех он — Гаврила Ломов. Про себя и Семушка его Гаврилой зовет. Даже дружок Семушки Ленька как-то признался:

— Боюсь я, когда твой новый батя на меня смотрит: глаз у него тяжелый. — И пояснил: — Дед Помиралка сказывал, что в глазах человека душа предстает.

Помиралкой на разъезде называли отца начальника станции — сухонького, совсем дряхлого старичка. Каждую осень, по заморозку, обходил он соседей, со всеми прощался, собираясь помирать и говоря, что уж этой зимы ему не пере-терпеть. И до весны не появлялся на улице, пересиживая холода за печкой, рассказывая ребятам байки да сказки.

Семушка насупился:

— Брехун он, твой дед Помиралка!

— Брехун? — загорячился Ленька. А вот проверим...

Под завалинкой станционного дома лежала в затишке лопухая дворняжка Дамка. Она не обращала на мальчишек никакого внимания, спокойно грелась на солнышке, но когда Ленька сердито уставился на нее, Дамка забеспокоилась. Подняла уши, глянула на Леньку раз-другой, поднялась и отошла, рыча и оглядываясь.

— Видал? — обрадовался Ленька. — А ты говоришь, дед Помиралка брехун! Не-ет, он старый и уж все в точности знает!

Никак не хотелось Семушке верить словам деда про душу в глазах, да еще Ленькиному доказательству, а получалось по их... И в самом деле, шибко тяжелым взглядом смотрит отчим на людей. И от всех на отшибе держится. Соседи, вон, собираются вместе, песни играют, стучат костяшками в прохладной тени тополей, а Гаврила — ни к кому. И к нему никто. И работа у него такая — путевой обходчик, все больше один работает. То на своем километре порядок наводит, то по околотку идет.

Отчим и дома жил в стороне от Семушки с матерью, страдавшей какой-то грудной болезнью. Крутила ее эта болезнь, надолго в постель укладывала. Вот и опять мать лежит. В летнюю жару мерзнет. Но отчим ее совсем не жалеет.

И, правду сказать, скуповат Гаврила. Сласти да обновки Семушке редко перепали. Да и пастухом он стал потому, что отчим так рассудил. Вообще-то стадо пас Сашко-однорукий — мордастый озорной парень из Узловой, нанятый на лето жителями полустанка. Да вот засобирился Сашко к себе в Узловую — большую станцию с магазинами, клубами и базаром, расположенную в десяти километрах от разъезда. Одежду сменить ему захотелось, купить кой-чего. Вместо себя он и подрядил Семушку, пообещав денег на новые сапоги.

— Иди, — решил отчим. — Тут два дня работы — и вот тебе, со скрыпом!

Но уж четвертый день не является Сашко. Видно, загулял. А Семушка за него отдувайся... Правда, и раньше он за подпаска не раз со стадом ходил. Но одно дело — просто так на приволье побыть, а когда столько коров у тебя под рукой — цветами не залюбуешься. Пастуха кругом беда поджидает. Позади железная дорога тянется, слева — бесконечные сопки, а с правой стороны — Лешинская падь и колхозное поле. Да еще от жары и паутов на коров «бзык» нападает. Позадируют хвосты — и по кустам, а то и домой, в тень и прохладу сараев.

Жары и слепней сильней других бык Пушкарь боится, — хотя он такой здоровый, что Семушка до его рогов и дотянуться не может. Дед Орлов сделал ярмо и приучил Пушкаря возить телегу и сани. Даже огород пахать на нем приспособился. Но еще теленком Пушкарь отморозил хвост, и теперь ему нечем отмахиваться от кровососов. Как прижучат его пауты до предела терпения, задирает бык остаток

хвоста, как пушечный ствол, — и деру! За этот огрызок его Пушкарем и прозвали. И когда поднят он кверху, никому не сладить с быком.

За эти несколько дней узнал Семушка, каково пастухом быть. Стадо выгонять нужно рано, чуть свет. К одиннадцати возвращаться домой, чтоб горячую середину дня коровы отстоялись в сараях. А как скатится солнце с вершушки, опять собирать стадо и пасти до вечерней росы. День таким долгим, таким тяжким кажется. Двадцать две животные под началом у Семушки. Среди них, как и между людей, есть хитрые, и ленивые, а есть просто блудни. Все их к запретному тянет. Вот та же Красулька — телка Слободкиных. Только что завернул ее Семушка, а она опять к Лешинской пади направилась. За ней, гляди, все стадо потянется.

— Ты куда, окаянная! — бросаясь за ней, грозно кричит Семушка. — Я тебе поброжу, тварюка безрогая!

Но Красульку на испуг не взять. Слышит она Семушкин крик, косится, а сама боком-боком, да все в сторону тянет. Семушке неохота далеко-то бежать, но надо. И опять сбивает он на себя росу, штаны и рубашка мокреют все больше, липнут к телу, вызывая озноб.

Вернув телку в стадо, Семушка успокоенно огляделся. Туман уже отошел от земли и широкими пластами поднимался кверху. Из-за далеких сопкок выкатилось солнышко и плеснуло по округе светом. Тысячами радостных слез заблестели вокруг росинки. Они сверкали на траве, на листьях берез и на ярких головках цветов. Славя утро, в перелеске с усердием распевали неугомонные птицы. Теперь Семушка видел все в молодой чистоте и нарядности, и ему становилось легче.

К восходному часу стадо ушло километра на два от линии, от полустанка, называемого и еще и разъездом, от дремавшего озера, деревни под сопочкой — от того мира, где Семушка начинал ходить, узнавать, помнить.

Жили здесь пока без радио и электричества, по кругу, определенному долгом людей и временем. Раньше других поднимались хозяйки, доили коров и провожали их в стадо. К восьми утра выходили на линию бригады путейцев — одна на запад, в сторону Узловой, другая на восток, — по кривунам пути между сопкок. В тот же час менялись дежурные по станции, путевые обходчики. Сдавшие дежурство отдыхали или занимались по хозяйству, и около домов опять становилось тихо, безлюдно.

Полустанок так мал, что даже кладбища и школы при нем не имелось, Усопших сносили за село, на гору, поросшую дубняком, среди которого темнело несколько крестов. А учиться ребяташки ходили в деревенскую школу, стоявшую на пригорке.

Особых событий в Семушкином мире вроде бы не случилось, но жизнь никогда не казалась ему скучной. Особенно летом. На приволье только ленивому нечего делать. Тут тебе и рыбалка на озере, и купание вволю. В лесу полно ягод, грибов. Можно в сопки забраться... Случалось, с местного поезда безбилетника снимали или подгулявший мужик отставал — тоже для разговора пример. Весной корову колхозную поездом задавило. Как же не сбегать, не посмотреть? Или вот загудят по дороге на полигон грозные танки. Попросись — танкисты в кожаных шлемах могут в башню к себе посадить, прокатят немного. А уж когда в деревню кино привезут — для Семушки и его приятелей это праздник.

Друзей у Семушки много. В каждом доме, во всех квартирах ребятня есть. На станции живут Ленка Чалов, братьев Пронька и Эдик Калиткины. Эти себя движенцами называют: их отцы следят за движением поездов. В том же доме живут Сережа с Кларой — дети начальника станции, внучата деда Помиралки. Но это мелюзга, близнецы-семилетки. С такими играть неинтересно, не сравнить с Варнаками, которые от Семушки через стенку живут. Это уж настоящие варнаки! Особенно Генка и Петька, тоже двойняшки, только десятилетние. Оба рыжие, курносые, росточком малые, но пронырливые — ужас. В чужом саду или огороде пошуровать, малинку раньше других проверить — первые мастера. Есть у Варнаков еще старший брат Амос — двенадцати лет, есть Зинка — ей девятый год и Зойка. Но та еще в зыбке качается, а старшие — вольный народ. День-деньской на улице промышляют, мастерят что-нибудь, а то и подерутся. На работу Варначата ленивы и пока решат, кому за водой к колодцу идти, — две-три потасовки устроят.

Рядом с казенным домом Семушки и Варнаков стоит рубленая изба деда Орлова. Раньше он тоже на линии работал, а потом, как сам говорит, на роспись сошел — на пенсию, значит. Но к тому времени поднялись дедовы сыновья. Да так поднялись, что на них, когда вместе они, и смотреть боязно. Рядом с ними припеваючи живет Шурка-сиротка — внук деда и бабушки. Малышу хоть всего восьмой

год, но тронуть его никто не смеет, зная, какая у него защита. Варнаков Петька как-то турнул Шурку, так получил от сироткиного дядьки Клима такой щелбан, как сам Петька говорил, у него до вечера в голове звенело.

В домах путейцев — казарме — малого народа еще больше. У одних Слободкиных пять мальчишек. Все крепкие, лобастые, молчуны. По огородам не шарят, озоровать их не уговоришь. Да если бы и захотели, бабка не даст. Бабка у них — под косяк ростом, руки у нее ухватистые, а на шее здоровая шишка — зоб. Сказывают, этот зоб бабку душить собирается, но она ему не сдается. У такой бабки не поозорует. Да и отец у Слободкиных строг. Он охотник хороший и ребят к промыслу приучает. Потому они часто пропадают в сопках, в лесу да на озере.

С ними Семушке всегда интересно. Какая травка, какое деревце или кустик растет — все они знают, про все рассказать могут. И лягушек в руки берут, не боятся. Шуркина бабка говорит, что если цыркнет лягушка на руку, сразу бородавки повылезут. У Семушки только на правой руке их пять штук, хотя лягушек он сроду в руки не брал. С чего же тогда бородавки повылезли?

И у Вани-чуваша — соседа Слободкиных — бородавки есть, а и он лягушек не ловит. Ваня тихий, стеснительный. Глаза у него черные, а чуб — как шерсть у барашка. И губа у Вани рассечена от самого носа. Это ему другой сосед — Митька Будыкин — рассадил камнем.

От Митьки все станется. Про него говорят — оторви да брось. Варнаки ему друзья и напарники. Митька старше других ребят, все верховодить берется, а ума у него — ни на копейку: третий год во втором классе сидит. Зато озоровать он первый. Да что ему не баловаться. Отец все в работе, мать тихая, неграмотная, а сестру, на год старше себя, Митька не слушает, даже поколачивает. Он и с ребятами больно задирист, боится только Юрку Шарапова — сына дорожного мастера Сергея Петровича. Юрка худой, как шкидла, но ловок и башковит. В школе у него одни пятерки.

Знакомые ребята есть у Семушки и в деревне. Хотя бы вот Проновы Демка и Тарас — сыновья охотника дядьки Романа. Далек в тайгу забирается дядька Роман. Привозит оттуда коз, барсуков, енотов, иногда даже кабанов и медведей... Еще в деревне живут Цезарь и Матвей. Они всегда вместе ходят. Попробуй тронь одного, другой накинется коршуном. Но с разъездовскими деревенские не шиб-

ко-то водятся. При встречах задираются часто. Может, оттого, что их больше? В деревне вон сколько домов. Там и сельсовет, и школа, и магазин...

Семушка вспомнил, что в аккурат на сегодняшний день намечено большое сражение с деревенскими. Из корыта, в котором зимой поили колхозных коней, сделали они линкор, а разъездовские из старых шпал сколотили броненосец. Битва на воде обещалась великая, а Семушка своим помочь не сможет. И все из-за Сашка... Не обидно ли? А тут еще Красулька, подлая, снова в сторону морду правит.

— Ну, я тебя сейчас отхожу! — кидаясь за ней, закричал Семушка. — Эх и отхожу, заразюка приبلудная!

Семушка в сердцах огрел телку кнутом, загнал ее в середину стада, вкусно хрумкающего сочной травой, и остановился около большой кучи рыжих муравьев. Сорвал веточку, обчистил ее и положил на макушку муравьиного домика. Муравьи засуетились, облепили ветку. Семушка подождал, потом поднял ветку, стряхнул муравьев и лизнул. Во рту стало так кисло, что даже в носу зазудило.

Присев, Семушка засмотрелся на муравьев. За ними всегда наблюдать интересно. Все они торопятся, и каждый что-то доброе для всех делает. Многие перетаскивают по крыше домика соринки, а один снизу соломинку тащит. Соломинка раз в десять длиннее муравья, и тяжело ему приходится, но ношу все-таки не бросает. А как дружно муравьи от врагов отбиваются! Семушка вспомнил, как Митька Будыкин разворотил такую же кучу и кинул в нее подбитую лягушку. Возвращаясь с сопок, ребята увидели, что от лягушки остался только скелет.

Семушке тогда было жалко и лягушку, и муравьев. Это ж сколько им работать пришлось, чтобы починить свой домик. Вот дедушка Орлов муравьев ворошить не разрешает. У него в саду большая куча стоит. Муравьи снимают с деревьев тлю, личинки гусениц оббирают. «Взялись бы они и за комаров с пауками, — подумал Семушка, отходя от кучи. — Так и жалят, так и жалят, проклятые... Отогрелись после зимы, ожили...»

Со стороны сопок на выпас набегал ветер. Он шевелил траву, покачивал головки саранок, ярких жарков, перебирал листочки берез, лип и осин. Солнце высушило на Семушке одежду. Греясь на сухом остожье, он поглядывал за стадом, рассыпавшимся среди кустарника. Некоторые коровы уже улеглись в тень, шумно и сытно вздохнув. «Теперь и другие

лягут», — с облегчением подумал Семушка. Удобно отвалившись на кучку старого сена, он увидел в бездонной синеве над собой большого коршуна. Раскинув крылья, тот плавно описывал круг за кругом. Семушка вспомнил свой сон и, наблюдая за птицей, подумал с завистью: «Эх, и вправду забраться бы так вот. Оттуда, поди, далеко-далеко видно. И озеро наше, и полигон, и Лешинскую падь. И в траве не путаться, ноги на кочках не бить... Там хорошо, поди, прохладно. Летает!.. И хоть бы крылом шевельнул».

Семушка не заметил, как сон на него навалился. Проснулся он вроде бы скоро: коршун все так же парил в вышине. Но, раскрыв глаза, Семушка не увидел рядом коров.

Стада не было, и ужас холодом окатил пастушка. Он сразу представил себе линию, поезд, разбрасывающий, подминающий коров и телят, людей, с криками бегущих по насыпи... Тут же в его воображении нарисовалась другая страшная картина: Лешинская падь, трясина с оконцами черной воды, тонущие и мычащие коровы...

— Боже ты мой! — прошептал Семушка. — Куда они все подевались?..

— Пушка-арь! Пушка-а-арь! — закричал он. — Красулька-а-а, Красулька-а-а!

Затихнув, с широко раскрытыми от испуга глазами, он постоял, прислушиваясь, но вокруг только шелестели листья и насмешливо улыбались саранки.

Семушка подбежал к ближнему деревцу, обламывая ветки, кое-как взобрался на него, огляделся. В той стороне, где проходила линия, было безлесно, видно далеко, но стада там Семушка не увидел. Не было его и в заросшей кустами низинке, которая вводила к сопкам и Бычковой заимке.

— Куда же вы, окаянные, уперлись? — шептал Семушка, хватая воздух пересыхающим ртом. — Как же я домой-то вернусь? Гаврила-то чего скажет?.. Ой, а если они в Лешинскую падь или на колхозное поле ушли?..

И тут же он едва не вскрикнул от хорошей догадки: «Следы! По следам можно все узнать!»

Скатившись с дерева, Семушка заметался среди кустов. Вот примятая трава, так... Здесь корова лежала... Вон еще лежка. Еще одна... Все стадо отдыhalo. Почему же они поднялись так рано? Времени сколько?

Семушка приложил руку к глазам, глянул на солнце, на тень от куста. Ой-е! Больше десяти часов будет! Уже к дому заворачивать пора. А кого заворачивать-то? И росы не стало.

По сбитой росе след далеко видно. Еще лежка... Трава от нее примята в низину. А вот тут она в другую сторону свалена. Кружили они, истоптали траву... Ой, только бы не в падь забрались. Туда бежать надо, туда!..

Коршун все еще кружил в синеве и видел, как беспокойно суетился пастушок среди кустов, как быстро двинулся он за темную черту дороги, к той стороне, где в низине косматились камышовые плавни и блестели под солнцем озера. Семушка бежал, спотыкаясь и падая, продираясь сквозь кусты, хватавшие его за одежду. Он не выбирал дороги, топал через лиманы, взбивая фонтаны прокисшей воды. Все знакомое и свое казалось теперь Семушке чужим и враждебным.

Обливаясь потом, через полчаса он выбежал к полю, лежащему на склоне перед Лешинской падью. Рукавом вытирая лицо, оглядел зеленеющие хлеба, широкую низину — безлюдную и безмолвную. Стада не было и здесь.

Из глаз Семушки посыпались горькие слезы. Зная, что тут его никто не увидит, всхлипывая и причитая, краем поля он повернул назад. На передышку не было времени. Солнце забиралось все выше, и, торопливо мазнув ладошками по щекам, Семушка побежал через покосные равнины и кустарники, распугивая птиц, сминая жарки и саранки.

Совсем измученный, вернулся он к тому месту, где отдыхали коровы. Припадая на колени и раздвигая траву, начал рассматривать вмятины от копыт. Следы вели в распадок между двумя буграми. Распадок опускался все ниже, а бугры поднимались, незаметно становясь сопками с густо заросшими склонами. Там, наверху, петляя по хребтинке становика, проходила дорога. Она вела к залежному полю и обрывалась у ручья, на берегу которого темнел старый омшаник и стоял пустующий дом.

Это место и называлось Бычковой заимкой. Когда-то здесь стояла колхозная пасека, но потом ее перевезли в другое место, и уже несколько лет на заимке никто не жил. Только летом в доме иногда ночевали покосчики да зимой, запрягая быка в сани, ездил сюда за жердями дед Орлов... «Пушкарь дорогу туда знает, — подумал Семушка, продираясь сквозь заросли. — И теперь все стадо ведет... У-у, бычара упрямый!» Семушке было страшно даже представить, что коровы уйдут в сопки за ручьем и заимкой. Тем сопкам ни конца, ни края...

Исцарапавшись о кусты, он перевалил через распадок и, срезав угол, вышел на дорогу. Взбежав на вершину бугра, ос-

тановился, распахнул ворот рубашки, прищурясь, долго всматривался в долинку перед заимкой. Никого не разглядев и теперь уж совсем не зная, что делать, Семушка повернулся и замер с открытым ртом: в полукилометре от себя, на той же дороге, он увидел стадо. Растянувшись цепочкой, отмахиваясь от паутов и слепней, коровы двигались в сторону разъезда. Семушка посмотрел, моргая, еще не веря глазам и, не утерпев, громко позвал:

— Пушка-арь! Пушка-арь!

Бык шел в середине цепочки. Услышав зов, он развернулся поперек дороги и встал, растопырив уши. С удивлением посмотрев на пастушка, мотнул головой и выдал басовитое, ни с чем не сравнимое «Ммму-у-уг!»

— Пушкарь... Чертяка бесхвостый! — всхлипнув, прошептал Семушка и обессиленно присел на траву. Но тут же подхватился, прижал к груди торбочку и с победным криком сбежал с бугра.

Догнав стадо, он защелкал бичом, строго покрикивая. Стадо пошло быстрее. Только Пушкарь было приостановился и посмотрел на Семушку еще раз. В его больших темных глазах пастушку почудилась насмешка. Но радость Семушки от этого не уменьшилась. Хотя и припозднившись, домой он возвращался со стадом, а о том, что было, Пушкарь рассказать, к счастью, не сможет. И, шагая за стадом по горячей дороге, Семушка думал, как бы поскорее добраться до озера и с разбега бултыхнуться в прохладную воду. «Может, еще и на сражение успею? — прикидывал он. — А уж потом завалюсь в сених на топчан...»

Так же, цепочкой, стадо подошло к развилке дорог. Здесь его ждали женщины, мужики, ребяташки. Обычно шумливые, они на этот раз были молчаливы, насуплены и даже, как показалось Семушке, сердиты. Кусками подсоленного хлеба, пойлом в ведрах хозяева приманивали коров и торопливо провожали их до сараев. Издали Семушка увидел, как Шурка-сиротка и Варнаков Петька с ватажкой ребят перегнали по переезду трех коров и Пушкаря. Успокоенный, он пошел тише, чтобы не спрашивали про опоздание, за которое, как он думал, и сердиты были на него.

Не торопясь, с кнутом на плече подошел он к развилке, где одиноко стоял старший Слободкин.

— Дядь Яша, дядь! — подступил к нему Семушка. — Не знаешь, Сашко не явился, а?

— Приехал, приехал, — успокоил его Слободкин, пыхнув

дымком самокрутки. — На озере купается, обормот. После обеда, говорил, погонит пасти...

— Ура-ра-а! — подпрыгнув от радости, закричал Семушка. — Вот хорошо как, вот ладно-то!

— Ладно-то ладно, Семен, — нахмурился Слободкин. — А Красулька наша где? Нет ее.

Ошарашенный Семушка замолчал. Не поправляя сползшего на лоб картуза, он таращился на Слободкина, боясь поверить услышанному. И не сразу робко спросил:

— А-а чего ж ее нету, дядь Яш?..

— Так это тебя спросить надо, — усмехнулся Слободкин. — Ты, парень, не проспал ли коров? Пригнал чтой-то поздно...

Семушка промолчал, опустив голову и глядя на белые от росы головки разбитых сапог. Он со страхом думал, что сейчас нужно возвращаться по горячей дороге, опять блуждать среди кустов и увалов. Представив злое лицо отчима, его тяжелый взгляд, Семушка повернулся и, волоча по земле бич, пошел от развилки обратно.

Слободкин остановил его:

— Куда ты, Семен?

— Красульку искать, — отозвался Семушка, едва сдерживая слезы.

— Да постой ты, дурья башка! — Слободкин торопливо подошел к пастушку. — Искать он пойдет... Втроем-то сподручней будет. — Он повернулся к казарме, коротко свистнув, позвал: — Найда!

На дорогу выбежала черная лайка — лучшая охотничья собака на разъезде.

— Ко мне! — скомандовал Слободкин.

Радостно взвизгнув, Найда подбежала к хозяину, закружилась, успев лизнуть Семушку в нос.

— Иди-иди, — выговаривал ей Слободкин. — Ишь обрадовалась, что ее летом в уголье берут... А ты сегодня где пас?

— Там, дядь, в перелесье...

Слободкин кивнул и, затоптав окурок, молча, чуть кособо-чась, выставя плечо вперед, быстро пошел по дороге к заимке. Семушка засеменил следом, успевая поглаживать Найду, на которую надеялся больше, чем на себя.

Слободкины — народ не больно-то говорливый. Всю дорогу их старший шел молча. Семушка к нему не приставал, считая, что дядька на него сердится. Может, ему отдохнуть

нужно было перед работой, а теперь вот приходится шагать в духоте, под обжигающим солнцем. Оно висело прямо над головой, жгло нещадно. Лоб у Слободкина блестел, рубаха на спине потемнела от пота.

Только на бугре, с которого Семушка увидел свое стадо, Слободкин спросил:

— Ты на дорогу-то их где выгнал?

— Та-ам вон, дальше, — не очень уверенно ответил Семушка. — В низинке...

Но он малость ошибся. Оказывается, стадо до конца распадка не доходило. К дороге оно поднялось ближе, склоном сопки.

— Как же так, Семен? — нахмурился дядька. — Говорил, в низинке, а следов по дороге дальше-то нет.

— Да я это, дядь Яш... — замялся Семушка. — Шли-то они низинкой, а тут вот, тут, стало быть, и стали заворачивать...

— Стали... А ты зачем? — Слободкин помолчал, оглядывая кусты по сторонам дороги. — Значит, так... Иди левой стороной, а я пойду правой. Вдоль дороги и двинемся к дому. Далеко-то не отходи! Еще тебя искать не пришлось бы...

Слободкин шагнул с дороги, затрещал сушником и скрылся из вида. А Семушка забрался в кусты с другой стороны.

Пробираясь по склонам бугров, заглядывая в самую чащу, он останавливался, слушал и замирал от тяжелых предчувствий. До конца перелеска оставалось немного, дальше начиналось чистое место, а на покосе Красульки не могло же быть. Там простор и жара. А если в кустах ее нет, тогда где же она, непутевая? Может, свалилась в яму-промоину?..

События дня, волнение и жара вконец измотали Семушку. Он даже не вздрогнул, услышав на другой стороне дороги злобно-торжествующий лай Найды, треск веток и голос Слободкина:

— Пошла, пошла... Взять ее, Найда! Гони!

Еще не веря тому, что поиски кончились, боясь радоваться раньше времени, Семушка выбрался на чистое место. Далеко впереди он увидел телку, бегущую по дороге с задраным хвостом, и гнавшую ее Найду.

— Видишь, нашлась! — проговорил Слободкин, выходя на дорогу. — Улеглась в холодке, да в такой чашобе, что мог бы пройти и не заметить...

Семушка измученно и благодарно улыбнулся сухими губами. Смахнув с лица пот, зашагал рядом со Слободкиным и

неожиданно для себя все рассказал доброму дядьке. И как нечаянно уснул на остожье, и как бегал к Лешинской пади, как пробирался до бугра, с которого и увидел потерянных коров.

— Да я это понял, Семен, — скупно улыбнулся ему Слободкин. — Разве тебе под силу такая работа? Зачем соглашался-то?

— Сапоги купить надо, — вздохнул Семушка.

Слободкин задумчиво посмотрел на пастушка и тоже не сдержал вздоха.

— Да-а, брат... Но держаться надо, Семен. Нам с тобой этот день на всю жизнь станет зарубкой.

— Станет, дядь Яш, — кивнув головой, согласился Семушка.

— Вот как держаться нам надо теперь! — сжимая пальцы в кулак, повторил Слободкин. — Большая беда навалилась...

— Так уже все, дядь Яша! — улыбнулся удивленный Семушка. — Коровы все дома, и Красулька ваша нашлась!

— Эх, воробей! Не про то я тебе толкую. — Слободкин чиркнул спичкой, раскурил самокрутку и грустно, строго посмотрел в глаза Семушке — По селектору передавали, сегодня утром немцы на нас напали... Война ж началась, Семен!

И не так тяжкая весть о войне, о которой у Семушки не было представления, а сам тон сказанных слов, похмурневшее лицо дядьки Слободкина ударили мальчугана по сердцу испугом. Он притих и задумался. Вокруг него млели покосы, клонилась от слабого ветра трава, разносился окрест стрекот кузнечиков и посвист птиц. Ах, как мирно было вокруг! Но отзывчивой детской душой Семушка почувствовал силу большой беды и понял, что сейчас не нужно говорить, а лучше подумать о таких важных делах и событиях.

Молча, понурясь, так они и продолжали свой путь по горячей дороге...

ГОРЬКИЕ ШАНЕЖКИ

Третий день над полустанком моросил дождь. От сырости все кругом насупилось, потускнело. Прибитой лежала в огородах ботва, грустно клонились шляпки подсолнухов, на линии потемнел балласт, и вода блестела на промасленных шпалах. Дождь загнал ребятню под крыши, колхозникам не

давал убирать хлеб, мешал работать железнодорожникам. Ночами морось закрывала от машинистов неяркие огни семафоров и, подходя к полустанку, паровозы начинали гудеть требовательно и сердито.

В тот день по станции дежурил отец Леньки Чалова. Переговорив по телефону с дежурным соседней станции, он вышел на крыльцо и посмотрел вдоль стены, под которой обычно собирались ребяташки. Там никого не было.

Чалов спустился с крыльца, обогнул здание и вошел в коридор жилой половины. Поторкался в одну квартиру, в другую, но они оказались закрытыми.

— Когда надо, никого не найдешь, — проворчал он, возвращаясь. — Куда это они подевались?

Проходя мимо двери в маленький и всегда пустующий зал ожидания с единственным диваном, Чалов услышал негромкую песню и заглянул в коридор зала. На сухом полу под стеной он увидел кирпичи, застеленные белыми тряпочками; около них лежала сумка с неумело нашитым красным крестом, а на одном из кирпичей прикорнул тряпичный заяц с забинтованной лапой. Тут же сидела девочка и, напевая, баюкала завернутого в лоскуты плюшевого медвежонка с перевязанной головой.

Это была Клара — семилетняя дочка начальника станции. Местная ребятня перекрестила ее в Карлушку, и эта дразнилка так подходила к круглолицей курносой девчушке, что даже дома ее часто так называли.

Чалов негромко кашлянул.

— Вот как... Да тут настоящий медсанбат, оказывается!

Девочка быстро обернулась, и лицо ее осветилось улыбкой.

— Не-е, дядя Саня. Я тут в больничку играю.

— Ну, больница или медсанбат — разница невелика... А что ж ты одна? Где ребята?

— Ражбежались. — Карлушка вздохнула. — Ленька ваш с Пронькой и Эдиком ушли на кажарму... Варнаки шалашик в орешнике строят. А моего брата Серегу мамка в Ужловую, к доктору повежла...

— Ты когда же научишься буквы хорошо выговаривать? — улыбнулся Чалов.

Девочка опустила реснички.

— А вот когда в школу пойду...

За выемкой, в двух километрах от станции, поднимая в сырое небо столб дыма, пыхтел на подъеме паровоз.

Чалов присел, взял девочку за руку.

— Есть важное дело, Карлушка... Знаешь в деревне старика Колотилкина? Который продавцом в магазине работает?

Карлушка улыбнулась:

— А-а, этот дедушка салажки делать умеет, да?

— Точно! — обрадовался Чалов. — Дед Колотилкин и обеспечивает всех вас салазками... Так вот: нужно сейчас пойти к нему и сказать, что в военном эшелоне едет на фронт его сын Николай. Запомнила?

— Ага.

— И еще скажи, что этот эшелон пройдет мимо нас часа через два, пусть поторопится. Поняла?

— Ага, — снова сказала Карлушка.

— Вот сколько! — Чалов показал растопыренные пальцы: — Два часа только. Скажи — сын Николай. Танкист. Едет на фронт. Только ты сразу беги, сворачивай свой медсанбат! — повторил Чалов и заторопился сам: паровоз уже пыхтел на выходе из выемки.

— Ладно, дядя Саня... А куклы пусть пока полежат. Я вот сбегая домой за мешком и пойду.

— Смотри не опоздай!

Через несколько минут, сообщив по линии о прохождении состава, Чалов опять вышел на крыльцо и на тропинке к переезду увидел торопливо идущую девочку в накидке из полотняного мешка. Карлушка сложила мешок углом в угол, получившимся капюшоном прикрыла голову и спину. Так в дождливые дни делали все ребяташки.

«Добежит ли?» — подумал дежурный, провожая девочку взглядом. — Старику хоть бы глазом сына увидеть. На службу Колька ушел больше года назад, а теперь, не побывав даже дома, едет на фронт. Кто знает, увидит ли еще стариков?. Не подкачала бы кнопка малая...»

До села, лепившегося на косогоре, за широкой падью с речушкой посередине, недалеко — чуть больше километра. Взрослому или ребятам в ватажке — совсем пустяки. Но маленькой девочке, да еще в дождь, по раскисшей дороге это не просто.

До пади Карлушка добралась быстро. от переезда дорога шла по чистому месту, между покосом и полем. Но в низине она отвернула к броду, а девочке нужно было идти по тропке к мостку через речку.

Узкая и сырая тропа уводила девочку в высокие кочки. Петляя меж редких кустов, Карлушка ничего не видела впе-

реди и по сторонам. Только серое, в темных разводах небо низко висело над головой. Как нарочно, из ближнего куста выпорхнула большая серая птица. Карлушка замерла от страха. Привстав на цыпочки, она вся прислушивалась к опасности, которая могла ожидать ее за поворотом. Как хорошо, если бы появился кто-нибудь из взрослых и перевел ее через таинственно-пугающую падь... Но не было слышно ни шагов, ни говора, ни кашля. Только капли дождя, ударяя по травам и листьям, что-то негромко и печально шептали.

До села оставалось немного. Дойти до мостка, перебраться по нему, еще пройти чуть-чуть по тропе с другой стороны речки и подняться на бугор. Там уже начинался машинный двор колхоза, стояли амбары и распахивалась широкая улица. Но туда еще надо дойти, а кругом загадочно, страшно... Карлушке захотелось вернуться. Она даже отступила немного, но тут вспомнила серьезное лицо дядьки Чалова, потом деда Колотилкина, сделавшего ей удобные и легонькие салазки, Без нее он не узнает о своем сыне-танкисте...

И, сжимаясь от страха, Карлушка двинулась дальше. Вздрагивая от чавканья воды под ногами, прошла до мостка. Боясь поскользнуться на сыром, узком настиле, стараясь не глядеть вниз, в темную, как в омуте, воду, перебралась за речку. Уже когда она выходила из пади, ее напугала большая серо-зеленая лягушка. Девочка бросилась бежать изо всех сил и темной горошинкой покатила к вершине бугра.

Только на деревенской улице она перевела дух. Но неприятности ждали ее и здесь. Когда она поравнялась с домом охотника Пронова, из-за ограды верхом на подсолнухе выскочил заляпанный до колен восьмилетний Тараска. Он подхлестнул «коня» прутиком и грозно спросил:

— Ты чо пришла сюда?

Деревенские ребятишки всегда задирались со станционными, и от Тараски всего можно было ожидать. Но Карлушка постаралась не показать страха.

— По важному делу иду... К деду Колотилкину. Вот...

— Х-ха, к Колотилкину! — Тараска строго нахмурил брови. — А зачем идешь?

— Их сын, Колька, на фронт едет... С танками...

Пока Тараска обдумывал такое серьезное известие, из калитки вышел его старший брат Дема. Он турнул Тараску с «коня» и сердито спросил:

— Чего пристал к маленькой? Бабка тебя куда посылала? Невозмутимый Тараска опять оседлал подсолнух. Но пре-

жде, чем умчаться по поручению, он скривил рожицу и пообещал Карлушке:

— Тебя еще собаки-то покуса-ают!

Демка погрозил вслед брату кулаком и сказал оробевшей Карлушке:

— Ты не слушай его, болтуна. Иди, куда шла.

Торопливо шлепая по лужицам, Карлушка миновала магазинчик и скоро подошла к домику старика. Но калитка и ворота были закрыты... Потоптавшись, девочка заглянула в щель ограды и негромко позвала:

— Деда-а! Дедушка-а-а!

Ей никто не ответил. Во дворе было тихо, на улице сумрачно и безлюдно. Только дождик все шумел, лениво сыпя по крышам и лужам. Тут из проулка выбежала лопухая собачонка. Карлушка ухватилась руками за верх ограды, поднялась и, высунувшись из-за плетня, еще громче позвала:

— Де-еда!

Ее услышали: за летней кухонькой зарычала собака. Гремя цепью, она выскочила на середину двора и залилась лаем. Но тут на крыльцо вышел сам старик Колотилкин — высокий, с окладистой бородой и черными, глубоко посаженными глазами. Увидел торчавшую из-за плетня Карлушкину голову в мешке и спустился с крыльца.

— Ты пошто на забор забралась, птаха малая? Зачем?

— Деда, деда, — затараторила было Карлушка, но тут она сорвалась и исчезла за плетнем, шлепнувшись на траву у ограды.

Старик торопливо открыл калиточку и поднял гостью, отряхивая с нее травинки.

— Эх, неладная ты... Вот, поди, и ушиблась.

— Нет, деда, не ушиблась, — Карлушка радовалась, что добралась до места, что все ее страхи остались позади и теперь-то ее не дадут в обиду. Растопырив перед стариком два пальца, она торопилась сказать главное: — Вот, деда... Через столько часов через станцию пойдет эшелон. И в ем едет на фронт ваш Колька... Танкист!

Старик ухватил Карлушку за руку.

— Колька, говоришь? На фронт едет?

— Ага, деда... А ты, деда, помнишь, мы с папкой приходили к вам за салажками?

— Горе ты луковое! Салазки вспомнила... Иди-ка, иди вот сюда.

Прикрикнув на собаку, дед провел Карлушку в летнюю

кухню — сухую, теплую, с запахами свежего хлеба и топленого молока. Посадив гостью у чисто выскобленного стола, придвинул к ней большую чашку с румяными, пахнущими медом шанежками с творогом, налил в кружку молока.

— Поешь, птаха, поешь, — приговаривал старик. — Он тоже присел на скамью, но тут же приподнялся, встревоженно спросив: — Да ты долго ли шла сюда?

— Нет, деда, — надкусывая шанежку, объясняла Карлушка. — Я все бегом больше. А там птица ба-альшая, а я как испужаюсь... Чуть и не померла сразу...

— Бог ты мой! — тормоша кисет, взволнованно говорил старик. — Колька — на фронт... А старуха, лиха ей мало, в гости уехала. Вот же неладно все как...

Так и не закурив, он сунул кисет в карман и стал шарить под столом. Достал белый мешочек, стал укладывать в него шанежки, приговаривая:

— Хоть это старуха правильно сделала... Из последней муки надумала шаньгов испечь. Колька такие любит — творожные, на медке... Эх, Колька! Вот теперь на фронт едет. Чего ж еще? Ага, меду туесок положим. В подполье варенья баночка есть...

Дед направился в дом, но из-за плетня его окликнула молодая соседка.

— Чего заметался, Дорофей Спиридонович?

Старик шагнул к плетню.

— Понимаешь, Ульяна, какое дело... Колька наш на фронт седни едет. С эшелоном. Гостинцы вот ему собираю.

— Да ты что! А чего у тебя дома-то есть?

— Вот шаньгов насыпал, туесок меду кладу, варенья банку. Может, молока налить, а? Как думаешь? Больше и нет ничего. И старуха не в час по гостям собралась...

— Можно и молока. Постой, лучше я тебе сейчас маслица вынесу. Сбивала вчера. А ты вот что... Ты посмотри, чего из теплого ему передать.

— Есть же, есть! — обрадовался дед. — Это ты хорошо подсказала!

Он убежал в дом, а соседка сорвала несколько капустных листьев и скрылась в своей избе.

Сидя у печки, Карлушка запивала шанежки молоком, обсыхала и отогревалась, наблюдая за суматохой взрослых.

Вернувшись, дед положил на скамью безрукавку из мягкой овчины, шерстяные носки и варежки, кусок байки. Соседка передала ему два колобка желтого масла.

— Эк, бабья сноровка! — похвалил дед.

— Сейчас, погоди, еще кукурузы принесу, — сказала соседка. — Только сварилась. Сунешь в мешок, — им, солдатам, в охотку будет. Это что в родном доме побывать...

От спешки у деда все валялось из рук, не умещалось в сумке. Карлушка взялась ему помогать, но тут в кухню вошла соседка. Она вытряхнула все из сумки, уложила по-своему. В один носок сунула банку с вареньем, в другой — туесок с медом и обернула их куском байки. В женских руках все получалось легко, ловко, быстро. Через минуту сумка была собрана. Сверху в нее положили белый мешочек с шанежками.

— Иди, старый, иди скорей, — торопила соседка деда. И тут же вздохнула. — Мой-то вот где теперь? Второй месяц письма нету...

Дед тоже вздохнул и, надевая на голову кепку, утешил:

— Напишет, Ульяна... Плохого не думай, напишет.

Выйдя за калитку, он быстро зашагал вдоль улицы. Карлушка едва за ним поспевала. Старик перехватил сумку поудобнее и протянул ей руку.

— Давай-ка опорину, сорока-белобока... Поди, упарилась под своим мешком?

— Ой, да и нисколечко...

Около дома Проновых Карлушка опять увидела Тараску и, не удержавшись, показала ему язык. Тараска обомлел, захлопал глазами, потом погрозил кулачком, но сунуться не посмел.

День уже близился к закату, когда Карлушка с дедом, перевалив падь, подошли к переезду. Все так же, то густея, то затихая, моросил дождь, и Карлушке было до смерти обидно, что ребяташки отсиживаются по домам и не видят, как она идет рядом с дедушкой из деревни. Посмотрели бы — тогда бы узнали, что и Карлушка кой-чего стоит...

Чалов встретил их на крыльце. Поздоровался с дедом за руку, погладил Карлушку по голове, похвалил:

— Ну, молодец, кнопка! Не испугалась, дошла.

— Дядя Саня, — перебила его Карлушка и, растопырив два пальца, спросила: — А прошло... столько... часов?

— Успели вовремя!

Они вошли в кабинет дежурного, сели на диван, стоявший у стены, против аппаратов и стола. Закурив с дедом, Чалов объяснил, что о Кольке ему сообщил дежурный с соседней станции, тому позвонил другой дежурный, а друго-

му — еще более дальний... Так по цепочке и шла эта весть, переданная дежурным с большой станции, к которому во время остановки эшелона успел забежать сам Колька.

— Вот оно как, — проговорил старик. — Не поленились, значит, люди, уважили просьбу солдата...

Услыхав звонок, Чалов подошел к аппарату. Нажав нужную кнопку, крутанул ручку и снял телефонную трубку. Послушал, посмотрел на часы, нахмурился. Повесив трубку на рычаг, вернулся к столу, что-то записал в журнале и только тогда повернулся к деду.

— Наш идет, воинский... Только с опозданием он идет. Состав тяжелый, а тут все подъемы. Не будет ему остановки у нас... — В аппарате опять что-то щелкнуло, коротко прогудело, и Чалов вздохнул: — Ну вот... Узловая дает составу прибытие.

— А если... — Дед помолчал и, вроде стесняясь, негромко договорил: — Если не сразу ему семафор открыть, а?

— За такое, отец, тюрьма мне, — так же тихо ответил дежурный. — У нас в журналах отмечается и когда поезд прибывает, и когда другому открывается путь. Задержу я состав, к тому же воинский, а машинист скажет, что опоздал из-за закрытого семафора. Почему, спросят, был закрыт семафор, если прибытие дано вовремя?

Старик снова вздохнул и склонил голову. Карлушке, притихшей в углу дивана, тоже очень хотелось, чтобы состав остановился, чтобы дед встретился со своим сыном Колькой, едущим на далекий и страшный фронт. И, жалея старика, она соскочила на пол.

— Деда, а ты жнаешь как сделай? Вот как папка мой один раз делал. Поезд шел, а он вжал ужел в руки и ка-ак швырнет его прямо в дверь-то!

— Это ты правильно говоришь, — одобрил Чалов. — Да, — а ты написал сыну хоть пару слов?

— Когда бы? — развел руками дед. — И так все бегом...

Из ящика стола Чалов достал бумагу, придвинул чернильницу с ручкой.

— Садись, пиши... Еще есть пять-шесть минут.

Дед пристроился у стола и, размашисто двигая ручкой, начал писать Кольке письмо. Чалов вышел на крыльцо, чтобы увидеть приближение поезда. И опять маленькой Карлушке хотелось, чтобы поезд шел тише, чтобы больше успел рассказать дед сыну. Но дежурный скоро вернулся, сказал:

— Пора... Уже показался из выемки.

Заторопившись, дед сунул письмо в сумку, обмотал ее горловину тесемкой, и они втроем вышли в предвечернюю мглу.

Укрывая лицо от дождя, Карлушка ждала. Поезд издали был похож на длиннотелое чудовище, гремевшее железными суставами. Паровоз уже выбрался на ровный участок и бодро набирал скорость.

— Ты ближе, ближе к составу, к той колее становись! — прокричал Чалов деду. — Смотри, смотри — во-он, вроде бы, машут!

Обдав всех паром, паровоз проскочил мимо, и за ним потянулись платформы с танками. Под частый перестук колес приближались коробки вагонов. Увидев в дверях одного из них человека с поднятой рукой, Карлушка подпрыгнула, звонко вскрикнула:

— Еде-ет! Вот он, деда!

Колотилкин приготовился и, когда вагон поравнялся с ним, бросил мешок, целя в приоткрытую дверь. Перетянутый ремнями, в гимнастерке с распахнутым воротом его сын Колька потянулся, стараясь подхватить сумку, но она ударилась низковато и, отброшенная стенкой вагона, отлетела в сторону. Танкист опять поднял руку, и через шум состава прорвался его крик:

— Будь здоров, батя-я!.. Прощай!

Вагон промчался дальше, и мимо снова потянулись платформы с танками.

Эшелон уже гремел за переездом, а дед все стоял в междупутье, не в силах оторвать взгляда от сигнальных огней на хвосте поезда. Он как будто все еще слышал и видел своего Кольку, исчезнувшего в дали с поднятой рукой.

— Надо же! — с горечью проговорил Чалов, подойдя к старику. — Не додумались дверь шире открыть... Эх, черт, досадно-то как!

Старик, не повернув головы, все так же глядя вслед поезду, негромко сказал:

— Молодые они... Ждали, видишь, а с дверью-то не подумали. Молодые...

Чалов ушел в станционное здание докладывать о прохождении эшелона.

Согнувшись под мокрым мешком, расстроенная Карлушка смотрела в спину согнутого горем старика, не зная, что ему сказать и что сделать. Тихонько подошла к отброшен-

ной сумке, рядом с которой белел выпавший мешочек с шанежками. Уложив его на место, девочка протянула сумку старику.

— Вот, деда. Вожьми...

Старик обернулся, машинально взял сумку и, все еще поглядывая вдаль, с горестью выдохнул:

— Видишь, как оно у нас вышло все? Неладно-то как...

Махнув рукой, он хотел было идти, и только теперь увидел в своей руке сумку. Достал белый мешочек и протянул девочке.

— На-ко вот...

— Не надо, деда, — прошептала Карлушка. — Не надо...

— Бери, птаха, бери... Нам со старухой эти шаньги горькими будут.

Сгорбившись, старик двинулся по тропинке, к переезду. Прижимая гостинец, девочка постояла в нерешительности и тихо пошла к дому.

Пройдя за угол, она остановилась у затишной стены и достала из мешочка шанежку. Чувствуя все тот же медовый запах, надкусила румяный краешек и, повернувшись, удивленно посмотрела вслед старику... Почему — горькие? Шанежка была сладкой, как и те, которые она ела в кухоньке деда.

МУЖИКИ

Не доходя до села, Прозоров свернул на тропинку к озеру: на погоду, а может просто с усталости ныла простреленная нога и побаливало плечо, где остался осколок снаряда.

Прихрамывая, он добрался до густых тальников на берегу. Стянув сапоги и расстегнув ворот гимнастерки, прилег на траву, всем телом чувствуя облегчающую прохладу, слыша, как окружающая тишина наполняется звуками. Рядом в тальниках проворковал дикий голубь. В высокой траве шуршал старыми листьями невидимый зверек. У середины озера плеснула рыба. А над травой и кустами то и дело проносились ласточки, метались стрекозы.

Все вокруг было мирно, спокойно, но Прозоров-то знал, что на этой самой земле уже второе лето грохочет война. Год назад он был цел и здоров, а теперь позади у него ночные атаки в подмосковных лесах, шесть месяцев госпиталя, две операции. Всего лишь год — и вот уже нет учителя

физкультуры и чемпиона по лыжам Прозорова, а есть Прозоров — инвалид войны. И финансовый инспектор на шесть деревень.

Пошарив в кармане, он достал пачку папирос, закурил и опять затих, уперев подбородок в сжатые кулаки... В другое время ему показались бы странными и до обидного непонятными перемены, случившиеся в его судьбе. Всего лишь год, а как перевернулась жизнь. Теперь он уже не открывает двери классов и спортивного зала. Вместе с председателями сельских советов он заходит в дома незнакомых людей и говорит: «За вами, хозяин, недоимка по госналогу...» Хозяин разводит руками, жалуется на трудности, просит подождать хотя бы до осени. «Фронт ждать не может, — говорит он. — И на военный заем надо бы подписаться щедрей». «Да разве ж мы против? — объясняют ему. — Но поймите, погодите чуток. Вот продадим кой-чего с огорода...»

Выходя из избы после таких разговоров, он смахивал со лба пот, перекуривал у плетня и шел дальше, к другому дому.

И так каждый день... Кто платит, кто отсрочки просит. Понимают люди, что налоги война подняла, что надо помогать фронту, но если нет денег, то хоть криком изойди — их не будет. Все фронт забирает. В колхозных амбарах одни семена остаются. И все же приходится опять говорить людям: «Давай!» И они дают. А кто дает-то? Крепкий народ на фронтах, тут одни бабы, старики да подростки в полях и на скотных дворах. Сами сидят на картошке, а фронту отправляют хлеб, мясо, сало. Последние копейки отдают, чтобы были у армии пушки, танки и самолеты...

Мысли Прозорова неожиданно потревожили частые всплески с озера. Послышался сердитый мальчишеский голос:

— Ты, Санька, в штанах искупаться хочешь?

— Да черпаю я, видишь? — отвечал другой, тонкий голос и виновато, с обидой: — Дыр-то в ем сколько!

Приподнявшись, сквозь прибрежные кусты Прозоров увидел длинное корыто, медленно и тяжело плывущее по озеру. На корме стоял коренастый мальчишка лет десяти с непокрытой головой, в расстегнутой рубашонке. Упираясь длинным, рассчитанным на большую воду шестом, он направлял корыто к берегу, и почти в такт его толчкам из-за обшарпанного края борта появлялась голова еще одного мальчугана — лет семи, с выгоревшим чубом. Жестяной

банкой меньшей черпал из корыта воду и выливал ее за борт.

Причалив шагах в двадцати от Прозорова, мальчишки вытянули посудину на песчаную отмель. Подвернув штаны, старший вошел в воду. Выдернул скрытый под рябью колышек, выбрал привязанную к нему веревку и, отступая на песок, потащил за собой мордушу из тальниковых прутьев.

— Есть, Матвей, есть! — хлопнув в ладошки, радостно закричал маленький. — Смотри, как в середке плескает!

Старший молча отволол мордушу подальше от воды и, открыв горловину, высыпал рыбу на песок. Пытаясь рассмотреть улов, заинтересованный Прозоров потянулся из кустов, держась за ближние ветки.

Опростав мордушу, мальчишка вытащил еще одну. Его напарник запрыгал на теплом песке и опять торжествующе закричал. Старший тут же наградил его подзатыльником:

— Сглазить хочешь?

Это «сглазить», знакомое всем поколениям мальчишек, затронуло душу Прозорова, вызвало вздох о собственном деревенском детстве. В памяти промелькнули кривуны и плесики речки Большанки, ворчня матери из-за ципок на поцарапанных, не знающих летней обуви ногах, гордая радость от улова, умещавшегося на тальниковом прутике, уговоры с погодками о сохранении тайны про уловистые места. И, не удержавшись, Прозоров, уже не таясь, направился к незнакомым мальчуганам.

Ребята успели вытащить третью, — видно, последнюю мордушу и, сидя на корточках, укладывали рыбу в солдатский вещмешок. Они были заняты делом и, чтобы внезапным вторжением не испугнуть их, не покоробить радость добытчиков, Прозоров, выходя из кустов, негромко спросил:

— Ну как, мужики, на жареху-то будет?

На него вскинулись две пары одинаково больших, но разных по цвету глаз — в одних густо умещались серые песчинки морского берега, а в других само море синело. Мальчишки без страха, с удивлением разглядывали босоногого молодого дядьку в галифе и распахнутой солдатской гимнастерке, с медалью на груди.

Прозоров улыбнулся, кивнул на блестящих карасей, голянов и темных ротанов, похвалил:

— Ну-у, у вас и на жареху и на уху хватит!

Старший из мальчишек серьезно ответил:

— У нас и артель немалая.

— Что за артель? — осторожно припадая на больную ногу, поинтересовался Прозоров. — Семья, что ли?

— Семья что... Я в доме третий, — по-мужски рассудительно ответил Матвей. — Да на свежину едоки завсегда наберутся...

Шмыгнув облупленным носом и торопясь стать полезным при разговоре старших, Санька объяснил:

— Мы, дядька, для двух дворов рыбу ловим. И еще на бригаду! Покосчиков ухой кормим...

— А рыбу берете подряд? — спросил Прозоров, бросая в мешок «зевающего» карася.

— Не-е, — опять поспешил маленький. — Каку чистить неловко, — обратно в воду бросаем.

— Мы тоже так рыбачили, — снова улыбнулся Прозоров. — Мелочь обратно кидали и просили у бога рыбку побольше.

— Ха, бога-то нет, — подсек его Санька. — Мамка сказывала, был бы бог, так он бы войну не пустил по земле...

— А рыбалил ты где? — перебив приятеля, спросил Матвей.

— Далеко, брат! — Прозоров улыбнулся, махнул рукой. — Далеко и давно. В самом детстве...

— Хитрый! — крутнув головой, хихикнул Санька и глянул на старшего: — Видал, Матвей? Не говорит, где!

— Ну почему же хитрый? — запротестовал Прозоров. — Если уж точнее, то на Большанке. Около райцентра которая, знаешь?

— Во-он с каких мест... — протянул старший. — А к нам-то зачем?

— Уполномоченный я, Матвей... По финансам инспектор. Из района приехал к вам поездом, шел от полустанка, да вот не дошел...

Прозоров заметил, как при слове «инспектор» вскинулись взгляды ребят, а лица их стали серьезными и озабоченными. И Матвей, помолчав, вздохнул:

— Налоги, значит, собираете...

— Налоги, — подтвердил Прозоров. — Напоминаю людям, что от них требуется...

— А думаешь, они сами того не знают? Да было бы чем налог платить, так и не ждали бы, пока им скажут.

Санька бросил в мешок последнюю рыбешку, вытер ладони о штаны и похвастал:

— А мы для фронта одежду собирали. Моя мамка из старой шубы аж десять рукавиц сшила. Вот!

Прозоров одобрил:

— Теплые рукавицы на фронте нужны.

— А ты воевал? — глянув на медаль, спросил Матвей.

— Воевал, — нахмурился Прозоров. — Только отвоевался, жаль.

— Чего ж так? — поинтересовался Матвей, сооружая из травы новую затычку для мордуши.

— А вот так... В бедро крупнокалиберная попала, а в плече осколок от снаряда сидит. Вот и вылетел из обоймы.

— Ух, я бы этих фрицев! — маленький Санька притопнул ногой и замахал кулаком.

Но Матвей насмешливо посмотрел на друга и осадил его:

— Расхрабрился! Там и не таких убивают. — Он повернулся к Прозорову: — У нас в деревне уже в четыре дома похоронки пришли... Что пустое брехать. Каждый человек при своем деле находится, о деле и должен говорить. О том, что ему по силам...

«Мудрец...», — тая усмешку, подумал Прозоров, и, закури́в, вертя в руке коробок, вдруг вспомнил недавний разговор в районном комитете партии.

Через месяц работы на новой должности он пришел в райком.

— Не могу, — сказал секретарю. — Не могу требовать, штрафовать, видеть слезы... Не могу! И смотрят на меня, как на личного врага. Пошли в депо. Паровозы ремонтировать буду. Сколько сил хватит...

Он ждал шумного разговора и был готов к нему. Но секретарь внимательно посмотрел на него, устало потер седые виски, негромко спросил:

— А ты почему не носишь свою медаль? Тебе ж ее за отвагу дали. — Помолчал и заговорил с тем же спокойствием, негромко, вроде сам с собой: — Знаешь, товарищ Прозоров, я вот тоже устал нажимать, убеждать, требовать. Устал. И мне хочется иногда попросить, чтобы рекомендовали на мое место другого. Но вот подумаю обо всем хорошенько... Разве другому легче будет эти обязанности выполнять? Ведь и у другого душа, сердце и вся нервная система со слабостями... А делать порученное дело надо же. Надо, понимаешь? От жизни не уйти, не спрятаться.

Секретарь замолчал, склонив голову. И Прозоров тихо поднялся со стула. Уже открывая дверь кабинета, услышал:

— Медаль-то надень... С ней тебя лучше понимать будут.

Послушавшись, Прозоров скоро понял, что с медалью на груди он был для людей не просто налоговым инспектором, а человеком с фронта, имеющим больше прав на требовательность, и те же слова его о деньгах, займе, поставках воспринимались острее, и о той же нужде говорили с ним легче, проще. Но нужда есть нужда. А если она каждодневная, то от нее никуда не денешься. И, сворачивая к озеру, Прозоров хотел не только передохнуть, дать успокоиться ранам, а хоть на время забыться от давящих душу обязанностей, просто побыть наедине с солнцем и тишиной. Но и это оказывалось несбыточным. Случайная эта встреча, сам разговор с мальчишками возвратили его к тому, от чего и на время отойти невозможно.

— А ты, Матвей, о какой артели говорил, если сам в семье третий?

Мальчишка растирал внутри мордуши картофелину и ответил не сразу.

— Я третий... А Цезарь, — он мотнул головой в сторону меньшого, — пятый в семье. И он один мужик на весь дом. У них мать, бабка старая и две сестренки, по четыре годочка всего...

— Близнята они, — сверкнув глазами, опять хвастанул маленький.

— Понятно! — Прозоров улыбнулся, видя, как ловко тот затягивает на мокром мешке сделанную петлю. — А почему тебя то Цезарем, то Санькой зовут?

Мальчишка быстро взглянул на Матвея и, отвернувшись, отошел, вроде рассматривая что-то за большим кривуном озера.

— Его по-всякому кличут, — негромко объяснил Матвей. — В метрику-то он Цезарем вписан, а уж Санькой его бабушка окрестила... Отец его в энтээсе трактористом работал. А наши мужики его «докладчиком» звали. Болтать любил, грамотея из себя корчил, с бригадирами ругался да водку пил. А когда вот он родился, отец, значит, пошел в сельсовет метрику выправлять... Выпивши как всегда. Ну и придумал Цезарем назвать. Тетка Мария—сельсоветовская председательша — такое имя даже в книгу не хотела писать. А он уперся — и все... — Матвей сердито плюнул и закончил с презрительным осуждением: — «Докладчик!» А перед войной уже, как две девчонки у них появились, и вовсе в город намылился...

Слушая эту историю, Прозоров опять перехватил быстрый взгляд Цезаря. Понимая, что говорили о нем, об отце, готовый ко всему, мальчишка торопился узнать, что теперь сделает, как поведет себя дядька с медалью на груди.

Прозоров подошел к нему, положил руку на плечо, — А где же отец теперь?

Цезарь пожал плечами и грустно улыбнулся, опять выворачивая лицо.

— Да, говорили, на фронте, — ответил за него Матвей. — Только сам он им не писал...

— Напишет! — с неожиданной для себя уверенностью проговорил Прозоров. — Обязательно напишет, ребята! — Он встряхнул Цезаря, прижал к себе. — Вот хлебнет горя, жизни помолится под бомбежками да минометным обстрелом, тогда и вспомнит вас. Он будет писать. Война каждого и так и сяк проверяет, всего выворачивает наизнанку. Да, а ты знаешь, кем тезка-то твой был?

— Знаю, — вздохнув, ответил маленький. — Сказывали, — ксплутатор!

— Ну, не совсем так, — с той же серьезностью возразил Прозоров. — Конечно, Гай Юлий Цезарь эксплуатировал рабов, но тогда, знаешь, время другое было. А сам Цезарь вошел в историю как великий полководец, оратор, писатель...

Объяснение мальчишке понравилось, он улыбнулся и уже смелее, как раньше, прищурил голубые глаза.

— Поди-ка выдумываешь, дядь?

— Зачем же? Какой резон мне обманывать?

Войдя в воду, Матвей воткнул колышек с привязанной к нему веревкой и, размахнувшись, забросил мордушу. Цезарь посоветовал бросать подальше, на глубину, где крупняк жирует. И тут же озабоченно спросил:

— Взаутреве, Матюш, надо бы проверить опять, а? Теплынь стоит, задохнется рыба... Как думаешь?

— Посмотрим, — выходя на берег, солидно ответил старший. — Будет время — проверим...

— Нам завтра на покос или к телятам?

— С утра будем с телятами.

Прозоров спросил:

— А чьих телят вы пасете?

— Колхозных, чьих же еще... Мы с Санькой за малышами присматриваем, с матерью его вперемежку. Она-то на покос ходит. Вот тогда и пасем молодняк.

— Непутевые они животные, телята эти, — сердито проговорил Санька. — Лезут всегда куда и не нужно вовсе... А вот с конями хорошо! С конями-то как интересно! В озере их можно купать, копыны верхом возить...

— С конями всегда хорошо, — улыбнулся и Прозоров. — Я тоже когда-то копыны возил.

— Да нам-то коней дают не всегда, — усмехнулся Матвей. — Вот когда конюхом был дядя Федор Орлов, у нас и скачки устраивались, и мы вперегонки гоняли. Да забрали Федора на фронт, а конюхом Серафима поставили. Этот говорит, что малы мы к коням.

— Не признает, значит?

— Да ну его... Вожжами шуганул от конюшни.

Настраивая последнюю мордушу, так же неторопливо, с редкими проблесками улыбки, Матвей рассказал, как они провинились перед конюхом. Оказывается, мальчишки после работы на покосе сразу погнали мокрых коней к водопою. А этого делать нельзя — коней застудить можно. За это и ругал их всех Серафим.

Слушая Матвея, Прозоров отчетливо представлял себе этого Серафима — в расстегнутой рубашке, с вожжами в узловатых, до локтей обнаженных и коричневых от загара руках: чувствуется, что этот Серафим с детства влюблен в лошадей — красу и гордость каждого крестьянского села.

И тут ему опять вспомнились детство, теплая ночь, костерок на сухом, обдуваемом косогоре рядом с Большанкой, голубые тени от голубых в лунном свете деревьев. Туман тихо растекается по низине, а из его белой толщи слышно сочное похрумкивание пасущихся лошадей, голоса колокольчиков, привязанных к могучим шеям... И они, мальчишки, в ночном — равные среди равных, уже знающие цену дружбе, — мечтают у лоскутка пламени о дальних странах, о неизведанном, что скрыто за линией горизонта.

Глухая тоска о прошедшем и боль в ноге напомнили ему другое. Недавнее, страшное... Он увидел другую ночь и другую низинку, услышал те пулеметы. Как они хлестали, как торопливо выплевывали вложенную в них смерть! Рота наших солдат полегла в той кочковатой низинке. Десятки молодых, здоровых, хороших людей... Но ярость polegших переходила к живым. Она подняла их и помогла задавить пулеметы. И теперь Прозорову казалось, что тогда, падая на отбитом у врага пригорке, обожженный пулей, он тоже

помнил тот косогор у Большанки, костерок, голоса колокольчиков. Но, может, это только казалось...

— И куда же вы сейчас? — спросил он ребят, ополаскивающих руки.

— Домой, а потом на покос, — повернув широколобую голову, ответил Матвей. — Бригаду кормить надо. На затирухе стога вершить трудно.

— Председатель тоже там?

— Председатель-то наш на фронте, — Матвей отошел к корыту, помолчал, прищурился, рассматривая его. — Заместо него пока бригадир поставлен. Вот он и вершит с мужиками. Работает день, а потом стонет ночами. Хворый он, желудком какой год мается...

— Что же в больницу не съездит?

— Да как же ему ехать? — нахмурился Матвей. — Сейчас самый покос, вот-вот уборка начнется.

Маленький Цезарь тоже вставил слово:

— На машинном дворе еще комбайн, не отремонтированный стоит... А тут кузнец запил. Третьего дня ему похоронка на сына пришла...

— Делов много, — вздохнул Матвей. — Только вертись.

Разговаривая, Прозоров помог ребятам слить из корыта воду. Они уложили в него единственное весло, шест, доску-скамеечку и мешок с рыбой. Став с шестом на корму, Матвей оттолкнулся от берега, потом подвел корыто носом к отмели, чтобы младшему было легче в него забраться. И едва тот сел, сразу распорядился:

— Бери банку, вычерпывай!

Потом, вроде впохватившись, предложил Прозорову.

— А то садись с нами? Мы за озеро перевезем, а напрямую тут ближе.

— Да нет уж, — махнул рукой Прозоров. — Через мосток пойду.

— Я как лучше хотел.

— Ничего. Бывайте, ребята. А ты, Цезарь, никогда не хвастай уловом. Сглазят!

Маленький, очень довольный тем, что его не обошли при прощании, высунулся из-за борта корыта, сморщился и проговорил с восхищением:

— Смотри ты какой! Хитрый!

Корыто толчками приближалось к теням деревьев, росших на другом берегу. Проводив его взглядом, Прозоров

медленно направился к кусту, под которым оставались его сапоги, фуражка и полевая сумка.

Он обулся, перетянул себя солдатским ремнем и подхватил сумку со списками налогоплательщиков. Вспомнив слова Матвея о каждом человеке при его деле, горько усмехнулся, поднял голову и на другой стороне, за гребнем тальников, опять увидел ребят. Чуть сгибаясь под тяжестью мешка, впереди шагал Матвей, а за ним, белея рубашкой, поспешал маленький Цезарь. Оба шли размашисто, твердо, как ходят люди, имеющие трудные заботы и важные дела.

РЫБНЫЙ СУП

Весну сорок третьего года ждали все с нетерпением: уж больно круто обходилась с людьми зима. Она давила морозами, гнула метелями и вокруг полустанка наворотила таких сугробов, что и не верилось, растают ли они до лета.

В стужу ребяташки отсиживались по домам. С нетерпением ждали марта, но март пришел, а тепла все не было. Все так же блестели под солнцем сугробы, с вечера и до утра потрескивал за окнами мороз.

Только к апрелю потемнел и стал оседать снег, появились проталины. Они расширялись, и как-то незаметно получилось, что от сугробов остались грязноватые оплывки, да и то в кустах и с северной стороны железнодорожной насыпи. Прилетели чибисы, жаворонки, утки. И тогда даже дед Помиралка сказал, что это весна.

У ребят начались игры на улице и дальние походы за выемку — в сопки. Да и на самой насыпи, на откосах линии интересно бродить. После того, как сошел снег, находились там иногда картонные коробки, ярко раскрашенные баночки из-под американских консервов. Из таких баночек мужики делали себе табакерки под самосад... Случалось кому-то находить на линии ножик-складешок, кожаный повод с кольцом, железку, нужную в хозяйстве.

Бредя по линии, ребята незаметно добирались до сопки. В низинах между ними срывали неопавшие ягоды шиповника, выпугивали краснобровых косачей, ловили бурундучков, сусликов. А то залезали на самую высокую вершину, затихнув, глазели в затянутые дымкой распадки и мечтали о летних походах, а потом с гиканьем скатывались по крутому песчаному срезу...

На приволье все хорошо! А когда солнечно и тепло — никакой силой не удержать ребятню дома.

Дождавшись такого вот светлого дня, апрельским воскресеньем отправились в сопки Ленька Чалов со своим дружкой Пронькой Калиткиным. А за Пронькой увязался его младший брат Эдик.

Налазились по обгоревшим с осени склонам, поставили капканы на сусликов и уже под вечер, уставшие и голодные, двинулись домой. Шли линией, петляющей среди сопок, шмыгая носами, шаркая каблуками по жесткому балласту.

Обратная дорога всегда почему-то скучнее. А тут еще, едва вышли из выемки, почувствовали, что не так-то тепло на дворе. Над насыпью проносился тугой северный ветер. Он рябил воду в канаве под откосом, гнул кусты и обдавал холодом, заставляя втягивать голову в плечи.

Продрогшие друзья двигались молча, нахохленно. Догоняя их, в сопках тяжело — на подъем — шел поезд. Вглядываясь вперед, где серели дома полустанка, Пронька сказал:

— А семафор-то закрыт!

— Стоять будет, — отозвался Эдик. Увидев два вихревых столба, взметающих травинки, прошлогодние листья и пыль, он оживился, дернул Леньку за рукав. — Глянь, глянь! Вихри бегут, вихри!

Ребятишки остановились, стали смотреть. Как живые, качаются вихри. Бегут-бегут, приостановятся, покрутятся на месте — и дальше, в глубину пади.

— Бывают вихри такие, что и человека закрутить могут, и паровоз от земли поднять, — сообщил Пронька.

— А дед Помиралка сказывал, — заторопился Эдик, — что это и не вихри совсем, а души померших. И что бегут они все к покойникам...

— А что думаешь, и бегут, — Пронька говорил уверенно, как старший. — В прошлую весну, когда хоронили Тоню Сиренкину, знаешь сколько их к кладбищу дуло! Так и чесали, так и чесали через пади и сопки. Как только в кочках не запутались...

Ленька не встревал в разговор, шагал молча, пряча лицо за воротом старенького пальтишка. Он и промерз сильнее Калиткиных — пальто было выношенное, да и Пронька, конечно, все лучше знает. Он на год старше, учится уж в третьем классе, а Ленька второй лишь заканчивает. Он только вздохнул, вспомнив покойную тетку Тоню. Кра-

сивая была. Да, видно, правду взрослые говорят: счастье не в красоте. Вышла тетя Тоня за летчика, прожила с ним всего ничего, и тут его на фронт взяли. Месяца через три пришла похоронка, не застряла же в дороге... С горя красивая тетка вроде бы не в уме стала и руки на себя наложила.

— Глупая, вот глупая, — сидя на завалинке, тихо осуждал ее дед Помиралка. — Хоть и покойница, прости меня господи, а к горю еще горя прибавила...

Поезд уже выбрался из выемки, стал приближаться, и ребята сошли на колею встречного пути. Все так же сгибаясь, Пронька с Эдиком шагали к дому, а Ленька отстал, всматриваясь в состав. Определил — воинский.

Мимо него потянулись теплушки, платформы с пушками и тягачами под брезентом. В открытые двери теплушек выглядывали матросы в тельняшках.

Замедляя ход, но не желая останавливаться на подъеме, паровоз беспрестанно гудел, требуя дороги. И, словно подчиняясь его гудку, семафор дрогнул, поднялся. Паровоз сразу запыхтел чаще, по составу прокатился перестук буферных тарелок, и эшелон стал набирать скорость.

Жалея, что поезд не остановился, что не удастся рассмотреть пушки, переброситься словом с матросами, понурясь, Ленька заторопился вслед за друзьями. Но тут его остановил звонкий окрик:

— Эй, пехота, держи!

В открытой двери теплушки Ленька увидел скуластого раскосого матроса в поварском колпаке и белой куртке поверх тельняшки. Улыбаясь, он изогнулся и бросил Леньке голову здоровенной кетины. Ленька на лету поймал ее, прижал обеими руками к груди и, обрадованный, закричал во всю силу:

— Спасибо, дядь! Спасибо-о!

Но мимо Леньки уже постукивали колеса других вагонов, а куртка белела далеко впереди.

Ленька догнал товарищей.

— Во, ребя, смотрите какая!

Мальчишки молча осмотрели подарок. Голова была большая, тяжелая, с крепкими загубниками и темным широким лбом. Отрезали ее неэкономно — подальше к туловищу, за плавниками.

— Кета! — определил Эдик. — Здоровучая! На всех, Лень?

Мальчишки обычно делились находками. Голодные, они

не брезговали поднятым с насыпи куском, сухого хлеба, яблоком с пятном или небрежно срезанной шкуркой шпига. Но тут Ленька прижал рыбью голову к груди и, отворачиваясь, проговорил:

— Домой снесу! — Он сунул подарок за пазуху и, не глядя на друзей, добавил: — Мы про рыбу не договаривались. Ее же мне дали...

Пронька, усмехаясь, молчал.

— Ну хочешь, откуси, попробуй! — пошел на уступку Ленька.

Но Пронька отказался, зашагал дальше. А Эдик не утерпел, откусил кусок сочного мяса. Пожевав, мазанул ладошкой по губам и, догоняя брата, оценил:

— Скусная!.. Соленькая... Спробуй, Проньк, спробуй!

Но тот шагал, не оборачиваясь, сунув руки в карманы, а Ленька, опять спрятав рыбью голову за пазуху, сказал, оправдывая себя:

— Мне мамка велела все домой приносить...

— Зажадничал! — крикнул, обернувшись Эдик, мстя за собственную слабость перед соблазном.

— Сразу и зажадничал, — обиженно отозвался Ленька, не хотевший ссоры с приятелями, но уже представлявший радость матери от такого подарка. — У нас-то иждивенцев двое, а папки нет.

Братья, не слушая его, шли впереди, и Ленька отстал со своими думками. «Разве же я неправду им говорю? — убеждал он себя. — У них и на отца карточки есть, и на мать. А у нас-то одна мамка работает. Хлеба всегда не хватает. Тит маленький плачет да плачет... Мамка ругается все, и от папки давно писем нет... Чего ж тут не понять-то?»

В трудные минуты Ленька всегда вспоминал отца. С ним он часто просиживал в небольшой комнате дежурного по станции. Отец рассказывал ему, как управляются семафоры, объяснял устройство аппарата Морзе, передающего сообщения не буквами, а точками и черточками на узенькой бумажной ленте. Ленька замирал в уголке дивана, когда отец, проводив поезд, нажимал кнопку селектора и раскатисто звал: «Диспетчер-р!» Откуда-то доносился строгий голос, и тогда отец докладывал, что поезд под таким-то номером проследовал через станцию. Иногда отец добавлял: «Прошел с минусом три». Это означало, что машинист провёл поезд по перегону на три минуты раньше положенного времени.

Когда отец сменялся с дежурства, Ленька принаравливался к его усталому шагу, и они возвращались домой. Летом, бывало, шли на покос, во влажные по-вечернему травы. А то сворачивали на огород, собирали огурцы, подкапывали молодую картошку. Ленька уже ждал, что скоро отец возьмет его с собой на утиную охоту.

Да вот не вышло...

На фронт Ленькиного отца призвали на втором году войны, в середине лета. Из военкомата отец вернулся жарким полднем, в аккурат в смену путевых обходчиков. Мужики сидели в тени тополей на станционном крыльце, — все в одинаково темных куртках с белыми железнодорожными пуговицами, затянутые ремнями с коробками для пестард и с кожаными чехлами сигнальных флажков. Лица у обходчиков темные — то ли от забот, то ли от морозов, ветра и летней жары.

— Кончилась моя бронь, мужики, — подойдя к крыльцу, сказал отец. — И на уток охота кончилась...

Обходчики вскинули на отца задумчиво-грустные взгляды, покивали молчком, зашуршали бумагой для самокруток. Слободкин — частый напарник отца по охоте — спросил:

— Когда, говоришь?

— Завтра к вечеру велено быть в сборе.

Слободкин помолчал, потом негромко сказал, вроде как сам себе:

— Значит, эшелон опять в Узловой сформируют...

Переговорив с мужиками, отец, а за ним и Ленька пошли к себе.

Матери дома не было: доила в стайке корову. Вошла она с подойником в руке, остановилась у порога, глядя на отца немигающим взглядом широко открытых глаз.

— Да, мать, пришел черед! — Отец сказал это легко, как у станционного крыльца, но вдруг осекся, и договорил со вздохом: — Готовь смену белья, ложку с кружкой...

Ленька боялся, что мать заплачет в голос, но она поставила подойник на лавку, перевернула приготовленную крынку, сцедила в нее молоко. Потом прошла к зыбке, подвешенной рядом с кроватью, взяла на руки проснувшегося Титка. Все так же молча, думая о своем, распахнула кофту, и только когда Титок, сладко причмокивая, замолчал, спросила:

— Еще кого взяли?

— Из наших-то никого, — закуривая у стола, ответил отец. — С других станций собирали народ.

Мать еще ниже склонилась к Титку, не видя, не убирая упавшие с виска волосы. Ее молчание было тяжелее слез, и, не выдержав, Ленька вышел на улицу.

Заплакала мать вечером, когда легли, когда свет погасили. Сначала негромко, приглушенно, а потом вздох, с причитаниями. Она все хотела что-то сказать, но слова глушились рыданиями. Отец молчал, только часто подносил к лицу красный огонек сигарки. И лишь когда мать выплакалась, он стал объяснять ей, что никого другого с их станции взять невозможно, начальник совсем больной, а у Калиткина полступни нет. Да и нельзя дорогу совсем без людей оставлять. И так у них дежурными работают две девушки-практикантки из Узловой. Хорошо, что справляются понемногу.

Мать молчала, слушала. Может, соглашалась, а может думала, каково ей придется одной с двумя на руках. А отец все говорил, говорил... Советовал, где поставить стог сена, просил лучше присматривать за ребятами да припас его — дробь там, капсюли, порох — оберегать, потому что Ленька подрастает, глядишь, сможет утей промышлять...

Ленька все слушал, а потом незаметно уснул. Спали ли отец с матерью в ту последнюю ночь? С рассветом они ушли докашивать траву на своей деляне, потом отец взялся укреплять подгнившую балку в сарае, заменял жерди в пригоне... Он торопился управиться со всем, что накопилось. Но, как это всегда бывает, в последний час несделанного набралось много.

Во второй половине дня собрались в их квартире соседи. Прихромал Калиткин — отец Проньки и Эдика, пришли соседки, за ними хвостиками потянулись ребяташки. Заглянул и начальник станции — худой и длинный, как жердь. И дед Помиралка пришаркал. Следом за ним Слободкин с казармы. Он и в хорошие дни не много слов говорил, а тут только дымил самокруткой, как паровоз на подъеме, и повторял:

— Будь спокоен, солдат. Твоих не забудем, одни не останутся.

Мать позвала всех к столу, водку выставила. Выпили за победу, за возвращение отца. Потом за остающихся. Но веселья не получалось. Разговор сбивался на тяжелые бои у Дона и под Ленинградом. Потом, видно, вспомнив, что

соседа могут как раз туда и послать, мужики виновато замолчали. Прижимая к себе детей, вздыхая, соседки поглядывали на Ленькину мать. Она держалась, но отходя за печку, смахивала слезы концами наброшенного на плечи платка. А отец все пошучивал, посмеивался, пробовал даже запеть «Скакал казак через долину», но поддержки не получил, свел песню на разговор и, прижав Леньку, все наказывал ему помогать матери, слушаться и за младшим братом смотреть.

В тот день по станции дежурила практикантка. Когда вышли к местному поезду, отец с улыбкой спросил у нее:

— Разрешешь напоследок проводить четный?

Девушка тоже улыбнулась, отдала отцу флажки и фуражку с красным верхом. Он надел фуражку, враз построжав лицом, и, когда скорый поезд приблизился к станции, поднял флажки, показывая машинисту, что все в порядке.

Состав гроыхал мимо, вздымалась под вагонами пыль, колеса торопливо говорили на стыках «бежим-бежим», а отец стоял впереди всех, серьезный и строгий, каким всегда бывал на работе. И только здесь отчетливо, до холода в груди, понял Ленька, что с этой минуты со скоростью поезда уходила в прошлое былая их жизнь, а за невидимой чертой разлуки начиналась у отца жизнь солдата. Как не хотелось Леньке, чтобы отец уезжал! Но скоро пришел пригородный поезд, остановился всего на минутку и увез его. Плача, Ленька бежал за вагоном и долго махал рукой что-то кричавшему и тоже машущему отцу.

С этого времени Ленькина жизнь стала скучнее и хуже. Хотя все вроде бы оставалось по-старому. Люди работали на линии, дежурили на станции, управлялись с хозяйством. В свой час приходил местный поезд с прицепленной сзади хлебозавозкой. По гладкому желобу из нее спускали черные буханки. Поезд уходил, хлеб переносили в бригадирскую, где хранились весы и гирьки, и развешивали по карточной норме. В платках и сумках люди разносили его по домам, где пайки еще раз делили — по едокам.

И, как раньше, проносились мимо скорые поезда. В них теперь ехало много военных. Они высывались из тамбуров и окошек, и ветер иногда срывал с них головные уборы. Уже многие мальчишки с казармы и со станции ходили в напалзающих на уши командирских фуражках, пилотках и бескозырках с надписями «Тихоокеанский флот», а то и «Торпедные катера ТОФ».

Без отца Чаловым стало трудно. По осени нужно было выкопать и перетаскать в подполье картошку, убрать все с огорода, сараюшку к зиме подправить. И сено у стайки уложить. С покоса его украсть могли — приезжали ночами лихие людишки с Узловой... Чтоб перевезти сено, пришлось просить помощи у Калиткина, у дяди Яши Слободкина. Но на соседей всегда рассчитывать нельзя, у каждого своих забот хватает, надо было самим управляться.

Одна радость у Ленки осталась — отцовские письма. Сначала они приходили из-под сибирского города Томска, где формировалась дивизия, потом — из-под Сталинграда. Там, писал отец, страшнейшая битва шла. И вдруг след отца потерялся. На дворе уж зима стояла. Тянули ветры-северяки, перегоняли снег в сугробы, прессовали их и полировали до блеска. Иногда линию заносило снегом. Вместе с путейцами выходили на околодок все, даже ребята. Расчищали путь, уберегали поезда от остановок. А когда ветры ослабли — насели морозы. Редкую неделю не стучала в ночное окно рука мастера, бригадира или путевого обходчика. На встревоженное матерно «Кто там?» из-за двери слышалось «Выходи, Катерина, выходи! Рельса лопнула!» И мать, еще с осени поступившая в путевую бригаду, одевалась, с ворчанием или руганью уходила в ночь и в мороз.

Сильно изменилась мать за прошедшую зиму, особенно когда перестали приходиться отцовские письма. Затвердела осенней веткой. То молчит неделями, то начинает шуметь и ссориться с соседками. И все реже, отогревшись у печки, собирая ужин, говорила со скупой улыбкой: «Вот Титушка, какой ты большой стал... Приедет наш папка — и не узнает тебя!» В такую минуту теплее и легче становилось у Ленки на душе. А когда мать ругалась, он грустил и стыдился.

— Ты на нее не серчай, — как-то сказал ему дед Помиралка. — Это ж она от горя такой стала. А кто, кроме хвашиста проклятого, виноват? Он, только он, саранча ненасытная! — Дед тогда покряхтел, подслеповато посмотрел на окна с толстыми наплывами льда, слабой рукой погладил Ленкино плечо. — Ничего... Немного уж морозу холодной рясой трясти. Вот и весна-красавица подступает. Солнышко-то, заметь, уже в нашем окошке всходить начинает. А с теплом полегчает все. Тут, гляди, Лень, и письмецо батькино прилетит...

Но вот и весна пришла, а писем все нет, и мать не меняется. Утром, собираясь с дружками в сопки, Ленка су-

нулся было к ней — отпроситься. Но услышал такие слова, что и идти сперва расхотелось.

«Может, сегодня будет письмо, — сворачивая к дому, подумал Ленька со слабой надеждой. — А если нет? Мамка опять кричать и ругаться станет. Причину она завсегда найдет. Солнце-то вон уже где, а я обещал сразу после обеда вернуться». Но тут он вспомнил о подарке матроса, которым надеялся смягчить и обрадовать мать, и зашагал бодрее и легче.

Мать он увидел сразу, как только вышел из-за угла дома. Выгнув худую спину, в накинутом ватнике и с непокрытой головой, она чистила у крыльца чугуна, в котором, бывало, при удачной охоте отца варилась картошка с козлятиной. Ветер трепал на матери юбку, сшитую из старой плащ-палатки, купленной в Узловой у инвалида.

Глянув на обветренные, подсиненные холодом лица ребят, мать напустилась на Леньку:

— Явился, не затерялся? А кого я за щепками посылала? Нет, нужно по сопкам шлындать... Теперь вот жрать просить станешь?

— Тетя Катя, тетя! — заторопился на выручку Эдик. — Он рыбу принес... Ба-альшую!

— Идите вы со своей рыбой! — отмахнулась мать, но все же посмотрела на сына: — Чего еще приволок?

Ленька торопливо выпростал из-за пазухи подарок и протянул матери. В ее глазах промелькнуло удивление. Склонившись, она осмотрела голову.

— Это ему матрос дал, — опять поспешил Эдик. — Повар с эшелона...

— Гляди-ка, чистая! — проговорила мать, и Ленька уловил в ее голосе скрытую радость. Но она тут же нахмурилась и приказала: — Неси домой! Хвастать тут нечем...

Ленька ждал от матери похвалы. А после такой встречи сразу поник и, ссутулясь, шагнул на крыльцо.

Их квартира, по-воскресному прибранная, показалась ему и светлей, и просторней. Титок сидел на кровати и, непрерывно дудя, толкал по цветастому одеялу деревянные чурочки. Увидев брата, он сразу оставил свое занятие и спустился с кровати. Ленька отрезал ему зажаберный плавничок с лохматым шнурочком шкурки и прожилками мяса. Титок затолкал угощение в рот и принялся жевать, причмокивая и жмурясь от удовольствия.

Хлопнув дверью, вошла мать. Поставила на плиту чугунок, громынула ведром с кусками угля и повернулась к Ленке, присевшему у стола.

— Чего расселся-то? Сколько повторять, чтоб за щепками шел! Сухого ни щепочки нет. — Увидев чмокающего Титка, мать взглянула на рыбью голову и еще сильнее расшумелась: — Уже? Растаскиваете? Не можете подождать? Или вы одни есть хотите?

— Да я и отрезал чуть-чуть, — обиженно проговорил Ленка, доставая мешок для щепок. — Ее же не покупали. А если бы не дал тот матрос?..

— Если бы да кабы, то росли б во рту грибы, — не унималась мать. — Иди, иди давай. Разговорился...

Совсем расстроенный, вышел Ленка во двор. После домашнего тепла на улице показалось еще холоднее. Он запахнул пальтишко, нахлобучил на лоб шапку и, спустившись с крыльца, свернул за стену, под которой уже играли с другими ребятами Пронька и Эдик.

Тут же, притулясь к высокой завалинке, стоял дед Помиралка. Был он в старой шубе, облезлой шапке, ватных штанах и галошах, из которых вылезали прихваченные у щиколотки шерстяные носки. Упираясь палочкой в землю, дед слезящимися глазами смотрел вдаль, на серые покосы, и приговаривал с радостью:

— Солнышка-то, солнышка сколько...

— Перезимовали, деда, — хмуро поддакнул Ленка. — А все еще холодно. Ветер вот дует и дует.

— Ну не скажи, Ленка. Дует, а уже не то. — Дед помолчал, отдыхая, и добавил задумчиво: — Кто не мерз, Лень, тот тепла не оценит. Тому и радости не разуместь, кто с лихом не обнимался... Мать-то чего шумела опять?

— Да-а... — замялся Ленка.

— Значит, от отца опять ничего нет, — негромко, со вздохом сказал дед и потыкал палочкой во влажную, парком дышащую землю. — Видишь, хоть на вершок всего, а оттаяла матушка. Ты не журишь, Ленка. Он напишет. Не может такой мужик просто так пропасть. И скажу я тебе, живой он. Кто что ни говори, а живой. Я сердцем чую. А не пишет потому, видать, что в партизанах. Простое ж дело... Были где в наступлении, а тут фронт отодвинулся, вот они и остались в тылу. На войне такого сколь хошь получается. У нас в русско-японскую, думаешь; не бывало такого? Вот.. Теперь они и лупят там хрица взашей. В тылу к нему по

ближе, а ближнего всегда ловчей ударять... Так что про плохое не думай. Иди-ка щепу собирай, зря мать лишний раз не расстраивай. Ей, Леньк, нашего во много раз тяжелее...

Прижимая мешок, Ленька направился к линии, неся обиду на мать. «Вот всегда она так, — высматривая щепки в траве под откосом, с горечью думал Ленька. — Не узнает ничего, не разберется и начинает ругаться. Хоть с соседскими тетками, хоть с кем. А чего от ругани толку-то! Да и папка живой, раз дед Помиралка про то сердцем чует. Дед старый, он все знает. И получается, что зря мамка сердится на всех, зря...»

Такой же хмурый вернулся Ленька на станцию. Ребят и деда на дворе уже не было: видно, разошлись по домам отогреваться. Солнце закатывалось, и сразу похолодало.

Ленька высыпал щепки в кладовку и вошел в коридор. Он сразу почуял вкусный запах рыбного супа, разносившийся из их квартиры. Но Леньку не радовали ни суп, ни тепло. Он устало присел на краешек табуретки у стола, за которым мостился со своей чашечкой что-то лопотавший Титок.

— Принес? — глянув на Леньку, спросила мать.

— Принес. Почти полмешка...

Забрав у Титка посудину, мать налила в нее супу и поставила на окно, чтобы остудить. Из кухонного стола вынула несколько глубоких чашек. Протирая их, искоса взглянула на старшего:

— Как это он тебе ее дал?

— Да как... Крикнул «Эй, пехота, держи!» и кинул в руки...

— А что же не съели вы ее с Пронькой и Эдиком? Вы ж всегда делитесь... Иль поругались?

Хмуро и быстро взглянув на мать, Ленька не ответил, еще ниже склонился к столу, колупая его дощатую крышку. Сгорбясь, он тут же ссунулся с табуретки и направился было в комнату, но мать остановила его. Налив чашку супа, поставила ее на край стола и, беря другую, сказала:

— Снеси-ка вот дедушке Помиралке... Пускай супом побалуется старый.

Мать проговорила это легко, даже чуточку беззаботно. Еще сдерживаемый недоверием, широко открытыми глазами посмотрел Ленька в лицо матери — жесткое, грубоватое, со складками вокруг рта и морщинками у глаз, таких родных и близких.

А она наливала в чашки дымящийся суп и говорила:

— Неси, неси... У них, может, и хлебушко есть. Да дружков своих позови. Вместе ходили, вместе и есть будете...

Поставив чашку на стол, удивленная молчанием и неподвижностью сына, мать повернулась к нему. Увидев его лицо, встревожилась:

— Ты чего, Ленъ? Чего ты?

Но Ленькины глаза уже наполнялись слезами, а к откровенной нежности он не был приучен и потому, не зная, как теперь быть, уткнулся лицом в материнский подол. Хотел что-то сказать, но слова застряли в горле, и вместе со всхлипыванием вырывалось только невнятное: «Мамк... мамк...»

Тревога матери тут же прошла, она все поняла и, поглаживая Ленькину голову, проговорила успокаивающе, с легкой печалью:

— Вот дурной-то... Вот чего думал, батькина кровь...

У РОДНИКА

В самый полдень в доме Варнаков учинилась драка. Сперва из сеней вылетели пустые ведра. За ними от пинка старшего брата Амоса с криком выскочил Петька. Ругаясь, он с неохотой подобрал ведра и отправился к колодцу. А на крыльце появилась ревущая Зинка. Хныча и обиженно ворча, она пошла к сараю, у стены которого стояли грабли.

Все было ясно: Варначата собирались на покос, сгребать сено. Вскоре на дорожке появились все три работника с граблями на плечах. Впереди с бидоном холодной воды шагал тринадцатилетний Амос, за ним Петька в бескозырке, а замыкала шествие Зинка с узелком в руке.

Путь их тянулся до дальних покосов — они лежали у самой Бычковой заимки. Из разъездовских жителей там никто не косил, хотя разнотравье росло хорошее, листовое. Такую траву любил косить отец Варначат — тихий, безропотный мужичок малого роста, не сильный, но жилистый и терпеливый. Бывало, уже и роса спадет и день жарой обливается, а он все машет и машет литовкой, неторопливо укладывая траву в рядки.

Но навалить травы — это еще не все. Ее надо просушить, сгрести в валки, а валки собрать в копны и уж потом сложить из копен стог. Работа тяжелая, кропотливая, многих рук требует. Но помощников отец и мать загоняли на покос с шумом и боем. И работали Варначата лениво, через силу.



Зинка канючила, что через дырки в ботинках ей «ноги колят». У Петьки от жары «ломалась» голова. А то всех разом жажда сушила. Если же случалось попасть в рядке на осиное гнездо или норку с дикими пчелами, — сгребальщики с дикими воплями разбегались, торопясь скрыться в кустах. Пока отец затапывал пчел или убирал сено от «страшного» места, помощнички отлеживались в холодке, объедались полуспелой голубикой.

Трудным оказывался для них и путь до покоса. Да еще в такую нестерпимую жару, в сушь, какой даже дед Помиралка припомнить не мог. Все пересохло в то лето — падь, лиманы, озерца. Коров поили из колодцев, а к вечеру и в них вода кончалась. Какая ж работа в такую жару?.. А тут еще пауты, что мессершмитты, гудят непрерывно и жалят до крови.

Шли Варначата на покос, как на каторгу. Не торопясь, почесываясь. Едва свернули на дорогу к займке, Зинка захныкала:

— Амос, Амоська-а!

— Чего тебе? — не оборачиваясь, спросил брат.

— Давай водички попьем?

— Обойдешься! — отрезал Амос. — Работнички, язви их...
Еще до покоса не доползла, а уже пить подавай...

Зинка примолкла, недовольно сопя. Петька смахнул со лба пот, циркнул слюной, продолжая жевать сорванную кислицу-траву. Петька вообще жевал все что попадалось. Варнаки не хуже других жили, но, не умея растягивать еду, чаще сидели без хлеба.

Дорога провела ребятишек через две мочажинки, раньше всегда сырые и чавкающие, а теперь сухие до гула. Перевалили они бугор, около которого их сосед Семушка потерял Красульку Слободкиных. Спустившись с бугра, оказались в глубоком и узком овражке, по дну которого обычно сочилась вода.

— Гля, и родник высох! — указал Петька на галечник. — Только мокрое место осталось... Во печет!

— Вода пробиваться не успевает, — авторитетно пояснил Амос. — Только поднимется, и тут же в пар...

— Амоська! — опять подала голос Зинка. — Давай отдохнем тут, а?..

Тот не отозвался, но, перейдя через мокрое пятно, остановился на другом склоне овражка, под тенью высокого дуба. Поставил бидон под дерево и сел на траву, вздохнув по-

взрослому озабоченно. Петька швырнул грабли на бугор, куда взбиралась дорога, и, растянувшись на траве, объявил:

— Перекур!

— Ага... Я вот мамке скажу, — неосторожно сказала Зинка.

Но Петька был настроен миролюбиво.

— Мы же понарошке. Перекур — значит отдых. А покурить мы и без тебя могли бы.

— Не лежи, не лежи на земле! — затормошила Зинка брата. — Мамка сказывала, на сырой земле нельзя валяться, простыть можно...

— Ты, старуха сопливая, не жужжала бы, — отмахнулся Петька. — Сырая земля... С чего же ей быть сырой? Вот и родника, видишь, не стало.

Вертя вытащенную из кармана рогатку и несколько кругленьких, еще на линии подобранных камешков, Амос возразил брату:

— Это ты, Петька, сбрехнул. Земля все равно сырая. Если бы земля высохла, так и деревья, и кусты посохли бы. А вот не сохнут. Значит, находят воду в земле.

— И здесь вода есть, под нами? — спросила Зинка.

— А как же...

— Только ты рот пока не разевай, — посоветовал Петька сестре. — Мы ж не можем вытягивать воду, как деревья... Эх, вот бы трубу такую, чтоб вроде корня была! Воткнул ее где хочешь — и пей. Ни корове, ни домой тогда не надо было бы воду таскать. Не житуха — лафа!

Над ребятами плавилось голубое небо с редкими комочками белоснежных облаков. Зинка пощурилась на них и повернулась к Амосу, которому верила больше, чем Петьке:

— А вот чего там есть, за потемишними аж облаками? Боженька — да, Амос?

— Там атмосфера, — объяснил тот. — А еще выше — стратосфера.

— А это — кто? — попробовала уточнить Зинка.

— Балда — вот кто! — прекращая научные объяснения, отрубил Амос. — Ничего там нет.

— Зинка, а во-он на том облаке черт сидит, видишь? — сказал Петька, тыкая в небо рукой.

Зинка, надув губы, буркнула:

— Сам ты черт... Да еще рыжий!

— Поговори мне! — отозвался Петька, которому просто не хотелось подниматься, чтобы отвесить сестре оплеуху.

Легкое колебание воздуха и тихий трепет крыльев остановили начинавшуюся перебранку, и ребята увидели дикого голубя, севшего на мокрое пятно в овраге. Он не заметил людей и чувствовал себя в безопасности. Посидев неподвижно и настороженно, голубь несколько раз качнул головкой, переступая розоватыми лапками, прошелся по влажному пятну, разглядывая его и опуская клюв к камешкам.

— Петушок-то, петушок! — зашептал Петька, и глаза его загорелись охотничьим азартом.

Таких голубей Варначата добывали на линии, подстреливая их из допотопной, петровских времен одностволки. Промышлять их первым начал Амос, где-то вычитавший, что голубь, как перепелка или бекас, — самая настоящая барская еда. А теперь, по военному времени, она была еще лучше барской. Пища сама просилась в котел, и Петька поторопил брата:

— Рогатку давай, рогатку!

Амос молча оттолкнул Петькину руку, зажав кожанку с камнем, начал медленно поднимать рогатулину, чтобы выцелить птицу получше. Младшие затихли, ожидая, что вот сейчас натянутся две красные полоски резины, хлопнет отпущенная кожанка и камень с силой ударит по цели. И на ужин будет борщ, хотя из крапивы, но с мясом.

— Ну чего ты? — дернулся Петька. — Улетит же... Бей! Но Амос вдруг опустил руку.

— Не улетит... Видишь — он пить хочет...

— Я тоже хочу, — шепнула Зинка, но ее никто не услышал.

В шесть глаз, но уже с другим интересом ребяташки наблюдали за птицей. Теперь они увидели, что голубь ходит как-то странно, с опущенными кончиками крыльев, и перья его не поблескивают как обычно. Клюв птицы раскрыт и, переступая лапками, она вроде сердится, не понимая, куда подевалась вода.

— Давайте ему водички нальем! — опять шепнула Зинка, забывшая, что сама просила пить.

— Это ж не курица! — возразил Петька. — Как ты будешь его поить? Может, за блюдечком сбегаешь?

— В песочек нальем...

Петька только головой покачал, каждой своей конопатной выражая насмешку над такой глупостью. Но Амос тихо сказал:

— А напоить его можно...

Сунув рогатку в карман, он потянулся к белому узелку и вытащил стеклянную банку с картофельными драниками, которые они несли отцу. Высыпав драники в платок, он тут же завязал его на два узла, оберегая себя и других от искушения отщипнуть по кусочку.

— Там, где мокрее, где сам родничок, выроем ямку, — объяснил он Петьке. Зинка в расчет не шла, как всегда при решении дел. — В ямку поставим банку. Вода будет в нее наливаться и уже не высохнет. Понял?

— Точно! — подхватился Петька, вепугнув голубя. — Я так у озера делал. Там сверху песок совсем сухой, а копнешь — сыро, копнешь еще глубже — и глядишь, вода собирается...

— Про то тебе и толкую...

Ребятишки спустились на дно овражка. Разгребая камешки и песок, стали искать самое влажное место. Теперь они вышли из тени, и солнце жгло их немилосердно. Но, не замечая палящего жара, склонив рыжие головы, Варначата торопились сделать доброе дело.

— Вот тут родник, — решительно проговорил Амос.

Петька с Зинкой посмотрели в его ямку, потом в свои и согласно закивали: в Амосовой ямке было сырее. Амос зачерпнул камешков и насыпал их в банку.

— Так она скорее наполнится, — пояснил он.

Сунув банку в песок, Амос аккуратно подогнал ее горловину к краям ямки, по которым уже сочилась прохладная влага.

— Порядок! — закончив работу, сказал он, довольный.

— Пор-рядок! — заорал Петька, бросая вверх свою бескозырку. — Пусть прилетают!

Зинка посчитала момент удобным, чтобы напомнить о себе.

— А давайте ливнем в банку воды из бидона, — предложила она, вытирая с курносинки пот. — И я немного пивну... Ну, чуть-чутьочку, а, Амос?

— У-у, помощница...

Шагнув наверх, Амос выхватил из тени бидон и, открыв крышку, дал сестре напиться. Потом осторожно наполнил банку.

— Вода воду потянет, — проговорил он, усмехаясь.

Опять схоронившись в кустах, ребятишки затихли, желая скорее увидеть результат своего труда. Сидели молча, затаив дыхание. Только Петька, глянув на солнце, заметил:

— Батяка с косьем встречать будет. Опять скажет, что нас за смертью хорошо посылать.

— Не гунди, — буркнул Амос. — Смотри вон!

У родничка уже сидел юркий трудяга поползень. Попрыгав на кучке песка, он повертел приплюснутой головой с крепким клювом и прыгнул на край банки. Ребятишки видели, как птаха жадно припала к блестящему пятну воды, а потом плюхнулась в нее и затормошилась, взбивая брызги.

— Вот гад! — прошептал Петька. — Напился, а потом купаться залез... А другим чо?

Но поползень уже опять выпрыгнул на кучку и с торжеством просвистел: «Цвить-я, цвить-я!» Варначатам в его бесхитростном пении слышалось утверждающее и зовущее: «Пить здесь, пить есть!»

И, словно откликаясь на этот зов, из кустов выпорхнул малюсенький королек, потом появились жаворонок и ярко раскрашенная птичка с желтым брюшком. Суматошась, они припадали к воде, пили и, отходя, начинали прихорашиваться.

После других прилетел и голубь. Он опасливо огляделся, покачивая головкой, подобрался к банке и, не обращая внимания на мелюзгу, начал пить. А напившись, тоже отошел в сторонку, встряхнулся, распушив перья и проворковал, может, подзывая голубку.

Шесть серых глаз с восторгом смотрели на птиц, радуясь своей смекалке и делу проворных рук.

Чуть погода Амос заворочался, негромко сказал:

— Пошли... Сено само сгребаться не будет.

Поднявшись, три работника скрылись за гребнем косогра. А внизу, за их спинами, сверкала, отражая солнышко, собранная в банку вода.

ВЕЧЕРОМ, ПОД ПРАЗДНИК

В этот день с утра потеплело, напоззли тучи, и после обеда в мягком безветрии пошел первый снег. Большие снежинки плавно опускались на землю, на крыши домов деревни и полустанка, на стога сена, делая их похожими на головки сахара. Все вокруг подновилось, стало светлее и чище, а снег падал и падал, радуя ребятню, с нетерпением ждущую последнего звонка.

Едва он раздался, школьный двор наполнился шумом. Набрасывая на себя телогрейки, шубенки, куртки из старых ши-

нелей, в пилотках и шапках ребятишки выбегали во двор, белый и незатоптанный. Спускаясь с пригорка, на котором стояла школа, они разделялись на два табунка. Один сворачивал в деревенскую улицу, а другой скатывался под косогор на дорогу, ведущую к разъезду.

Дойдя до пади с кочками и кустарником, долговязый Юрка Шаратов натянул на уши пилотку, предложил:

— Ребя, айда-ка в войну? Снежками-то, как гранатами, можно!

Девчонки опасливо заторопились дальше. Вслед им полетело несколько снежков, но тут же, делясь на два лагеря, мальчишки гурьбой окружили Юрку. И только Шурка Орлов — коренастый, крепенький, как гриб-боровик, — продолжал шагать по чистому и влажному снегу.

— Ты чо, Шурк? — удивился его сосед Семушка. — Не будешь?

Шурка остановился было, но упрямо крутнул головой:

— Не, мне домой надо... У нас дедушка с утра хворый.

И пошел дальше, придерживая висящую на плече противогазную сумку с книжками. Торопился Шурка не зря. Дома была одна бабка, а деда на поезде отвезли в Узловую, в больницу. Шурка остался единственным мужиком в доме и главным работником по хозяйству.

Когда круглый бок солнца приблизился к линии горизонта, Шурка начал управляться с делами. Снег к тому времени перестал падать, небо очистилось и в закатной стороне разливалась багряная полоса. Закат обещал мороз и ветер, сумерки густели по-осеннему быстро, и нужно было поторапливаться.

Для начала Шурка провел след по дорожке за линию, к колодцу с бездонным срубом, под кособокой крышей на двух столбах. Два ведра воды он принес в дом, а два Белянке — низенькой, пузатой и комолой коровенке. Напоив корову и подложив в ясли объедьев, вычистил стайку, принес от стожка два навильника свежего сена — Белянке на ночь. Потом загнал в клетушку четырех бестолковых куриц и трусоватого петушка, за делами утапывая снег тяжелыми, на три портянки обутыми, но все равно спадавшими с ног мужскими сапогами.

Шурка уже колот дрова, когда из дома вышла бабка с подойником на руке. Мелкими шагами полузрячего человека она прошла к стайке, и скоро оттуда послышались напевы тугих нигей молока, ударяющих в дно ведра. Эти звуки на-

помнили Шурке об ужине, и он стал работать с пущей старательностью. К бабкиному возвращению успел перетаскать дрова в избу, затопил печь, а на косяке окна повесил зажженную семилинейную лампу.

За ужином бабка дала Шурке стакан молока. Себе и того меньше плеснула, только чай забелить. Остальное слила в бидон — снести в колхоз в счет налога. Бережливо прибрала несъеденные картофелины и горстку капусты, а редкие крошки смахнула в Белянкино пойло.

Еще крепкая на ноги, с руками, и в старости не отвыкшими от тяжелой работы, бабка мучилась глазами: плохо видела из-за перенесенной когда-то болезни. Почти всю работу делала она ощупью, не ошибаясь лишь по привычке. Сначала прикрыла трубу, потом плотнее прихлопнула отходившую дверь и бросила у порога старую телогрейку. Закрываясь от ветра и холода, она на целую ночь отделяла себя и внука от мира, зная, что с плохой вестью соседи до утра спешить не станут, а с хорошей и в окно постучать можно.

Неторопливо и привычно бабка сняла с гвоздика чистую тряпку, держа руку по краю стола, протерла клеенку, вздохнула и проговорила, глядя на Шурку:

— Теперь вот садись... Сегодня Климу напишем, а завтра письмецо и отправим.

Шурка снял лампу с косяка, поставил ее на стол. Из темной комнаты принес школьную сумку, достал из нее пузырек с чернилами и тетрадку — согнутые пополам и сшитые нитками листы серой бумаги. Раньше у него и такой не было. Как и все, писал он в тетрадках из старых газет. А бумагу принес в школу продавец дед Колотилкин. Она осталась в магазине со старых, довоенных времен. В нее бывало заворачивали покупки. Но дед рассудил, что селедку, если ее привезут, бабы и в руках разнести могут, а ребятишкам бумага в самый раз придется. Обрадованная учительница разделила подарок деда на всех, ее нарезали, сшили, разлиновали, и получились хорошие тетрадки.

Пока Шурка собирался, бабка достала из сундука мешочек с отходами пшеницы и выдвинула к печке мельницу, сделанную дедом из толстого березового чурбака. Летом дед долго сушил этот чурбак под навесом, потом вместе с Шуркой ровно распилил его пополам и в свежие торцы вбил множество кусочков железа. Поставив половинки одна на другую, дед проворачивал верхнюю и крутил до тех пор, пока железки не сгладились и не заблестели. После этого в сере-

дине одной чурки дед выдолбил дырку и с края приделал ручку. Получился верхний жернов мельницы, или, как называл ее дед, крупорушки. А нижний чурбак он обил выступавшей над краем жестью, оставив узкую щелку с приделанным под ней желобком. Закончив работу, дед насыпал в дырку горсть кукурузы, покрутил жернов за ручку, и по желобку потекла желтоватая струйка почти настоящей муки.

Такие мельницы-крупорушки делали и в деревне, и на разъезде, — чтобы не бегать по соседям, не таскаться с тяжестью, когда в доме появятся отходы овса или пшеницы, соя или кукурузные зерна...

Бабка села на низенькую скамеечку с растопыренными, как у теленка, ножками, сыпанула в дыру горсть отходов, поправила на голове платок, спрятав под него седую прядку и, сердясь, спросила молчавшего внука:

— Ты готов, нет ли? Чего копаешься?

— И не копаюсь я вовсе, — неторопливо поскребывая перышко ножом, отозвался Шурка. Он хорошо знал, что вечерами бабка совсем плохо видит, а читать и писать она не умеет вовсе. — Говори, чего писать-то... Поди, опять с приветов начнешь?

— Ну, а как же? — удивилась бабка, всегда робевшая перед ученостью внука. — Люди же со здоровканья день начинают...

Но Шурка и без объяснений знал, с чего начнется письмо, и в верхнем углу листа вывел: «Писано 6 ноября 1943 года». А бабка, проворачивая жернов, уже диктовала, немного растягивая слова:

— Здравствуй, дорогой наш сынок Климентий. Низко кланяемся тебе и шлем привет — тятя и мама, племянник твой Шурка...

Поскрипывая пером, Шурка спешил за бабкиными словами, пропустив привет от племянника. Буквы у него получались еще не так быстро, перо зацеплялось о шероховатинки на бумаге, к тому же о себе он всегда упоминал в конце: «Писано вашим дорогим племянником Шуркой». Писал он это всякий раз, хотя над такими словами дядьки в ответных письмах подшучивали. «А пуцай смеются, — думал Шурка. — Сами же вот и пишут: «Здравствуй, дорогой наш племянник Шурка». Им чего... Смеяться им не впервой».

И в Шуркиной памяти, по-детски цепкой, оживали картины жизни в старом доме с дедом, бабкой и тремя их сыновьями. Молодые и смешливые, они все уезжали и уходили

по своим делам, а потом опять собирались вместе, принося с собой запахи мороза и вольного ветра, а заодно игрушки, конфеты и пакеты с печеньем. Сладости они, по молодости, вместе с Шуркой же и съедали, уча его заталкивать в рот целые печенюшки. И лучше всех это как раз у дяди Клима получалось.

Привыкнув к дядькам, Шурка без них потихоньку скучал. Тогда вспоминалось ему только грустное.

...Их двор около большого дома на улице районного центра — в Узловой. Снег вьюжит, по-вечернему холодно, а со двора выезжают сани, запряженные парой коней. В передке дедушка с дядькой Федором — своим старшим сыном, — а за ними гроб с Шуркиной матерью. Ее увозили, чтобы похоронить на деревенском кладбище, рядом с родным домом. Шурка с бабушкой ехали отдельно — в переполненном вагоне поезда. К их приезду гроб уже стоял на столе, вокруг горели свечи. Хмурые, насупленные дядьки обступили Шурку, молча раздели, раскутали. Дядя Федор погладил его по голове: «Ничего, Шурка... Проживем!»

С того времени и остался Шурка в приземистом, самым дедом ставленном доме, вместе с дядьками — сильными и здоровыми. Под дверным косяком каждому приходилось нагибаться. Но выше всех был дядя Клим. «Средненький», говорила бабка. Тогда он уже на паровозе кочегаром работал. Бывало, как едет в Узловую, в депо. — не раз гуднет. Мол, заводите блины, скоро дома буду.

Дядька Клим был и озороватее всех. Не то что Федор. Тот хотя и старший, а от рождения тихий. Может, потому и пошел на колхозную конюшню, к лошадям, чем крепко рассердил деда. Дед-то хотел, чтобы сыны по его линии, в железнодорожники шли. И самому младшему — дяде Виктору, который десятилетку кончал, он все советовал подаваться в машинисты или путевые мастера.

Про Виктора говорили, что он в дедову кость пошел — коренастый, широкоплечий, смуглый, за что его «гураном» дразнили. А еще — «академиком»: читал он больше всех и все мудрил над разными штуковинами. Шурке то пистолет самовзводный смастерит, то самолет с гудящим пропеллером. А в последнее лето, закончив школу, такое придумал, что все ахнули. Сделал дядька пароход. Как настоящий, — с мачтами, каютами, трубой и топкой. В топке зажигался фитилек, и тогда из трубы шел дым, колеса начинали крутиться, и пароход плыл по озеру против волны и ветра.

Смотреть на первый пуск собрались все Орловы. Клим, в аккурат, был свободен от поездки, а Федор пригнал коней — напоить. Смотрели они, смотрели — надоело. Сами попрыгали в воду и такую возню устроили, что пароход едва не утопили. И Шурку, как кутенка, тоже на глубину закинули — плавать учили. Он и теперь вздрагивал, вспоминая, как от страха колотил по воде руками и ногами, взбивая брызги и гребя к берегу.

—...А еще сообщая тебе, дорогой сынок, — крутя жернов, продолжала бабка, — что младший брат твой Виктор по морю плавает, где много льда. Нс они под лед-то ныряют и потом топят германские пароходы...

— И не пароходы, а корабли, — поправил Шурка, довольный таким упоминанием о дядьке, недавно приславшем фотокарточку. Был он снят в морской командирской форме, в фуражке и с биноклем, а за его спиной виднелись подводная лодка и широкое море.

— Прописывал он, что паек им дают хороший, — продолжала бабка, не обратив внимания на поправку, — и чтобы мы об ем шибко не беспокоились... А еще тебе шлют поклон Варнаковы Поликарп Емельянович и Серафима Петровна да еще Чалова Катерина со станции. От мужика ее письма так и нет...

Бабка всегда диктовала без разбора, что вспоминала. Особенно много наговаривала она приветов, но Шурка наловчился обходить их. Слушая бабкин рассказ про жизнь соседей, он и теперь задержал руку и, повернув коротко стриженную голову, затаил, наблюдая, как бережно бабка засыпает в крупорушку новую горсть отходов.

Жидкая струйка напомнила Шурке о недавнем приходе колхозного председателя Фрола Чабуреткина. Шурка тогда еще подивился, как это Фрол с одной рукой и ногой на кулышке донес до их дома большое цинковое ведро. Видно было, что председатель упарился. В распахнутой телогрейке и солдатской, откинутой на затылок шапке с щербатой жестяной звездочкой долго сидел он на лавке, выставив деревяшку и смахивая со лба пот. Помолчал, потом проговорил, будто стыдясь:

— Озадки вот к празднику вам приволок. В амбарах-то одни семена остались, и те считанные...

Хотел председатель еще что-то сказать, да запнулся и попросил деда свернуть ему самокрутку. Они закурили и стали говорить о скорой зиме, о дровах для школы, о сене и слабом

тягле... А как войны коснулись, председатель опять замолчал, глядя в угол, и только уходя, махнул рукой с мокрым платком в кулаке:

— Побьем его, старики... Побьем, гада ползучего! Гнулись мы, да не сломались, а теперь распрямляться начали. Не сегодня — завтра Киев опять нашим будет! Побьем его, падлу, помяните мое слово!

С тем и ушел тогда председатель.

Задумавшийся Шурка, уловив в бабкином рассказе короткую паузу, неосторожно спросил:

— Баб, а ты лепешки с утра печь станешь?

— Да ты чего не пишешь, окаянный! — рассердилась бабка. — Я ему говорю, говорю, а он сидит, про лепешки думает. Потом, гляди, спать захочет... Когда же письмо кончим?

Шурка сглотнул слюну и торопливо стал писать. Но и теперь не перестал думать о лепешке. Он просто не мог не думать о ней. И о хлебе — белом, с дырочками в податливом мякише и хрустящей на зубах корочкой.

Последний раз такой хлеб Шурка видел перед самой войной, когда за ним отец приезжал. Широкоплечий, с выпирающим животом, он выложил на стол белый хлеб, колбасу, конфеты, водку поставил. Располосовал буханку ножом, и Шурка потянулся к куску, но, перехватив прищуренный взгляд дяди Клима, отдернул руку. И только тогда увидел, что ни дядьки, ни дед с бабкой не придвинулись к столу, остались на своих местах — затаенно-молчаливые, какими были у гроба Шуркиной матери. Оробев, Шурка тихонько отошел от стола, потом и вовсе убежал в сад, а следом за ним дядьки вышли.

— Дурачок-дуралей! — несердито сказал ему Федор. — Он же приманивает тебя гостинцами. А увезет — и бросит, как мамку твою бросил. Вот вместе нам и черт не страшен. Соображаешь?

Шурка тогда еще не понимал, как это можно «бросить» его или мать, на мопилке которой бабушка весной раздавала крашеные яички и рисовую кашу с конфетками. Но ехать отказался наотрез и вместе с дядьками молча, насупленным взглядом проводил отца, широкими шагами уходящего к станции. Отец с тех пор как в воду канул, и никто о нем не жалел.

А вот когда уезжали дядьки, Шурке было горько до слез. Уезжали они в воинском эшелоне из Узловой, и все в один

день. Провожая их, бабка плакала, дед хмурился и покашливал. А дядьки смеялись, пошучивали с отправлявшимся тем же эшелонем Фролом Чабуреткиным — бригадиром трактористов из деревни. Тот был выпивши, пел под гармошку песни и все жену свою по плечу гладил. Потом подцепился к составу паровоз и увез Шуркиных дядек на фронт. Перрон опустел, нагоняя безлюдьем тоску.

С того лета бабушка и перестала топить русскую печь, где выпекала калачи, разные кренделя и хлеб. Получался он чуть кисловатый, но очень вкусный. И всегда его было много. А теперь на карточку деда-пенсионера им дают на два дня чуть меньше буханки, похожей на кирпич. Бабка хлеб прячет и делит его перед едой. Деду и себе кладет поровну, а Шурке всегда чуток больше. И лишь на праздники она мелет кукурузу или озадки, печет лепешки — без ничего, прямо на плите. Получаются они малость подгорелыми, пахнут дымом, но все равно вкусные.

—...Тяжелей нам теперь без Пушкаря жить, — продолжала бабка. — Но на две головы скота уж больно большой налог. Спасибо, что молодой инспектор присоветовал сдать быка на мясопоставку. Вот мы старый-то долг и покрыли... Все бы ничего, да тут Белянка молоко убавила, а с чего и не знаю, сынок...

Бабка замолчала, нагнувшись, пощупала горوشку муки под желобком. Подняла чашку с пола и ссыпала муку на железный лист. Смахнула с ладоней пыльцу и, опять садясь на скамеечку, проговорила:

— Еще столько же намелю, и нам хватит.

— Давай, баб, про что дальше писать, — поторопил ее Шурка. — А то я уже от себя начну.

— Торопишься-то чего? — нахмурилась бабка. — Завтра целую лепешку получишь. А пока пиши что говорят.

— Чего бы! — обиделся Шурка. — Я что, за лепешку пишу?..

В темной половине дома высветились крестовины рам, по стене и по потолку поползли узорчатые тени от растущих в саду деревьев. Их высвечивал луч паровозного прожектора: по линии на запад шел поезд. Язычок пламени за ламповым стеклом начал мелко вздрагивать, в избу через стены доносился грохот тяжелого состава.

Дожидаясь, когда поезд пройдет, сердитый Шурка отложил ручку и уставился в темное окно, за которым ничего не мог разглядеть. «Лепешку, говорит, дам... Вот бабуш-

ка!» — вертя головой, думал он, не понимая, как можно такое сказать. Пишет же он не кому-нибудь, а дядьке Климу. Тот хотя и задира, бывало, Шурку и щелбанов отваливал за дразнилки невестами, а был веселей других. Бывало, затеет игру в карусель. Сложит руки на голове, сцепит пальцы, присядет, и Шурка, а с ним приятели — Семушка, Варначата или Ленька со станции — подцепляются, обхватывая бугры дядькиных мускулов. Выпрямится дядька в рост и медленно начинает крутиться на одном месте, а потом все быстрее, быстрее — и тогда только держись. Смешаются в глазах земля, небо, не выдержит, замрет сердце, расцепятся пальцы, и летят ребятишки кубарем по мягкой луговине. А уж когда дядьки между собою борьбу затеют — близко не подходи. Земля ошметьями кверху летит. Дед, видя такое, ворчал, пряча в бороде усмешку: «Повырастали, поганые... Рельсы гнут, а ума — с горошину...» Но Шурка-то видел, что дед совсем не сердится, а наоборот, — доволен, что такие большие, веселые у него сыновья.

Вспомнив былое, Шурка вздохнул. Показалась ему очень давней эта его жизнь с дядьками. В лето перед войной он только в школу готовился. Дядя Виктор ему книги купил, Федор привез пенал, а Клим — цветных карандашей и коробку красок... Теперь Шурка уже третий класс осиливает, десятый год ему миновал. Много переменялось за это время. Нету уж в их стайке добродушного быка Пушкаря, нет парохода с трубой и каютами.

И дядьки Федора больше нет...

Весной почтальонка Варька принесла в их дом письмо. Не треугольничком, как всегда, а в сером конверте. Дед распечатал, подал Шурке листок. Шурка сразу узнал дядькину руку, но удивился, почему это дядька Федор отправил письмо надорванным и запачканным чем-то бурым.

— «Дорогие тятя и мама, племянник дорогой Шура! — начал Шурка читать вслух. — Сегодня у нас шумно, и буквы получаются плохо, а я тороплюсь, чтобы успеть послать весточку и вас успокоить. Сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам всем желаю. Знаю, что вы, мама, все плачете и за нас молитесь. Но я уже писал, что в бои не хожу, служу при штабе и работа у меня неопасная...»

На этом-то месте письмо обрывалось и было залито так, что Шурка не смог разобрать ни слова. Пока он старался, дед нашел в конверте еще листок и протянул внуку. Написано письмо было от руки, но разборчиво.

— «Здравствуйте, дорогие отец и мать! — бойко начал Шурка. — Горько писать эти строки, посылать вам печальную весть с неотправленным письмом нашего боевого товарища, но вы должны знать правду. Ваш сын Федор Орлов был лучшим разведчиком артиллерийского полка и погиб при корректировке огня батарей у местечка...»

Страшная весть еще не дошла до Шуркиного сознания, а бабка уже зашлась криком. Тогда и Шурка не выдержал — заревел. Дед отпаивал их водой, гладил тяжелой рукой Шуркину голову и говорил глухо:

— Поплачь, внучек, поплачь... Жить-то надо...

А сам дед не плакал, только с лица почернел. И борода у деда вроде бы тяжелее стала, клонила голову книзу, гнула его, и без того уже согнутого. Шутка ли — три войны отвоевал дед. Японскую, империалистическую и гражданскую. Потом до старости на железной дороге работал. Отдыхать бы ему теперь в спокойствии, да тут еще и эта война пришла, опустошила дом, принесла горе, подлая...

— ...Сообщаю тебе, что приходил к нам в гости Фрол Чабуреткин, — под ровное гортотание крупорушки говорила бабка. — Теперь он новый колхозный голова. Мы уж прописывали, что с фронта он пришел шибко скалеченный — без ноги, и рука обожженная у него сохнет...

— Погоди-ка, баб, — сказал Шурка. — Листок переворачивать нужно... Пускай чернила просохнут.

— Пускай, — согласилась бабка. — И ты отдохни.

Перечитывая написанное, Шурка запнулся на непонятных словах «колхозный голова» и, задумавшись, вспомнил свою первую встречу с нынешним председателем.

С фронта Фрол Чабуреткин вернулся в покос. Встречавшие его, особенно деревенские пацаны, говорили, что у него орденов на всю грудь и еще медалей с горсть. Шурки тогда не было, а посмотреть на веселого Фрола, уезжавшего с его дядьками, ему хотелось. Но когда они встретились, никаких орденов он не разглядел. Фрол лежал на земле рядом с магазином. На крыльце сидел выпивший дед Колодилкин, еще весной получивший похоронку на своего Кольку-танкиста. Дед плакал, глядя на Фрола. Сапог на единственной ноге Чабуреткина скалился гвоздями, а самодельная култышка была неумело затянута сыромятными ремнями. Напрягаясь так, что на шее вздувались жилы, пытался Фрол подняться с земли, да нога скользила, а второй не было, и он снова валился на бок, ругаясь вовсю. Но тут подошла к Фролу

сельсоветская председательша тетка Мария. Она помогла ему встать, отряхнула, спросила негромко:

— Опять тоске предаешься?

Фрол припал к теткинному плечу, скрипнул зубами:

— Ты пойми, Мария... Душу пойми!

— Понимаем, все понимаем, — ведя покорного Фрола, говорила председательша. — Да сам себя в стыд роняешь, фронтовичок ты наш дорогой...

Шурка долго смотрел им вслед и, расстроенный, потихоньку пошел к мосту через речку. Догадался, что жалко Фролу свою ногу, оставленную в подбитом танке, обидно быть калекой.

Даже сейчас, вспомнив ту встречу, Шурка не удержался от вздоха, опять торопя перо за бабкиными словами.

— ...Лето нынче удалось, в огородах все уродилось, и люди запаслись на зиму. Мы огурцов хорошо насолили и капусты. Картошки семь мешков сдали в колхоз по самообложению. Картошки, капусты и огурцов свезем на базар, справим Шурке одежду да катанки по ноге подберем...

— А когда напишем, что дедушка наш в больнице лежит? — спросил Шурка, обрадованный словами о новых катанках.

Не дождавшись ответа, он посмотрел на бабуку. Видно, устав крутить жернов, она сидела, подперев рукой голову и глядя в темный угол избы. Ответила бабука не сразу.

— С плохой вестью зачем торопиться? Вот встанет дедушка, тогда и пропишем, что маленько хворал... — Она еще помолчала и вдруг заулыбалась: — Ты ему лучше про Варьку, почтальонку нашу, пропиши-ка. Да привет от нее передай.

Шурка, удивленный, что нужно писать привет еще и от Варьки — сестры его дружка Юрки Шарапова, задаваки с длинной косой, — заупрямился, но бабука стояла на своем.

— Пиши, дурачок, пиши. Много ты понимаешь! Им там все о доме охота знать. Что тебе, грамотному, тяжело, что ли? Пиши: Варька, дочка дорожного мастера Сергея Петровича, жива и здорова, держит себя в строгости, баловством не занимается...

Бабука говорила про Варьку что-то еще, но Шурка строил уже самую важную часть письма — от себя. «Дядь Клим! — выходило из-под пера. — Учусь я хорошо, как ты и прописывал, для помощи фронту. Учителка ставит мне «хор.» и «отл.». А завтра праздник. Сказывал мне Юрка

Шарапов, что на станцию опять передали наркомовский подарок. Значит, дадут нам завтра шоколадки, конфет, может еще и пряников. А мне обещали выдать новые штаны или материю на них. Это уж Юркин отец сказывал. Потому как я сирота и племянник фронтовиков. Но штаны, видать, привезут в другой раз. Я и подождать могу, хотя эти крепко поизносились... Ты, дядь Клим, однако, здорово фашистов колошматишь, если еще был поранен и к ордену опять представлен. Бабушка только плакала и говорила, что она сердцем неладное чуяла. Почему про ранение сразу не сообщал? Это не дело! Я бы тогда тебе чаще отписывал. А у меня, дядь, тоже беда. Нонче занесло пал с покоса на край нашего огорода, а там я пароход под заплотом прятал. Он и сгорел, и жалко до слез. А помнишь, как мы с тобой у деда без спросу арбузы таскали? Помнишь? Мы тогда жерди возили и арбузные корки кидали в траву, а дед-то нас и опознал в шkode и тебе хворостиной грозил. Вот потеха была! А счас, дядь Клим, тут без вас тихо...»

Забывшись, усердный Шурка высунул кончик языка и, склонив голову, торопил слово за словом, видя перед собой родное лицо дядьки Клина. Это была для него счастливая минута. Довольный возможностью поговорить с дядькой, он вспоминал всякое из прошлого, дорогого обоим. Выводя слова, Шурка представлял, как дядька Клим командует огнем своей пушки, щелкивает с бугра фашистские танки. А потом садится в окопе, читает это письмо товарищам-солдатам и щурит смешливые глаза.

— Чего пишешь-то? — в который раз спросила недовольная бабка. — Все от себя? Скрипит и молчит! Давай-ка читай, чего написали, а я вспомню чего, доскажу...

— Писать уже некуда, — сказал Шурка. — Я тут уже и «до свиданья» вывел.

— Гляди, грамотей! — осерчала бабка. — Успел уже.

Обычно письма перечитывались, и при этом Шурке приходилось хитрить. Он пересказывал бабке приветы, которых на бумаге не было, да разные подробности про соседей. И в этот раз Шурка сделал так же, вспомнив и про Варьку, про которую и не подумал писать. А в конце с чувством прочитал написанное от себя.

— Ну вот и молодец! — похвалила ничего не заметившая бабка. — Ложись уже, Витюше завтра отпишем...

— А хлебушка не дашь, баб? — собирая тетрадку, спросил Шурка.

Бабка перестала крутить жернов, молча пошевелила губами, ответила, виновато вздохнув:

— Нету ж хлеба... Завтра поутру привезут.

— Ладно, баб, — смутился Шурка. — Это я так спросил.

Он снял штаны с заплатами на коленках, сшитую к школе рубашку из голубого сатина и забрался под одеяло. Его кровать стояла в дальнем углу, там было прохладней, и Шурка стал укутываться с головой. Копошась, он не слышал, как подошла бабка, только почувствовал, что она подтыкает одеяло под ноги, а сверху укрывает его еще и старым полушубком. Потом бабка ткнулась рукой к изголовью.

— На-ка вот, сухарик нашла...

Шурка торопливо сунул руку в темноту, и в его ладони оказался кусочек сухого черного хлеба. Он надкусил его и, жмурясь от удовольствия, стал медленно жевать. Обрадованный, засыпая, он думал про письмо, которое прочитает дядька, про завтрашние праздничные подарки.

Шурка так и уснул с улыбкой. За стеной старого дома проносились составы, по-зимнему гудел обещанный закатом ветер. Прислушиваясь к голосам ночи и вздыхая в полумраке избы, бабка все крутила тяжелый жернов крупорушки.